

ДАНИИЛ СМИРЕНБЕРГ

БОЛЬШОЙ ДОЛГОВОР



**РОМАН О ГОРДЫНЕ, КОТОРУЮ МОЖНО ПРОДАТЬ —
И О ЕДИНСТВЕННОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ОБРАТНО**

Даниил Смиренберг

Большой договор

«Автор»

2026

Смиренберг Д.

Большой договор / Д. Смиренберг — «Автор», 2026

Обычный клерк из московского офиса — одинокий, никем не замеченный — в мокром переулке спотыкается и поднимает взгляд на человека в чёрном пальто. Дьявол предлагает ему то, чего не может дать ни один земной царь: вечность внутри мира, созданного специально для него, где можно говорить с Сократом, спасать царевичей и менять историю по своей воле. Цена — душа. Роберт соглашается — и веками странствует по эпохам, чувствуя себя почти богом, пока не понимает: каждое спасение стирает чью-то жизнь, а каждая исправленная ошибка рождает новую, ещё горшую беду. Когда сотворённый для него мир начинает рассыпаться в пустоту, а гордыня оборачивается отчаянием, к нему наконец приходит то, чего он избегал всю дорогу, — и перед ним встаёт последний, по-настоящему свободный выбор. Роман о цене гордыни, природе искушения и единственной силе, способной остановить падение, — покаянии.

© Смиренберг Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

БОЛЬШОЙ ДОГОВОР	5
Предисловие	6
Часть первая. ПАДЕНИЕ	7
Глава 1. Незнакомец	8
Глава 2. Голос, который знает всё	15
Глава 3. Договор	18
Часть вторая. ВЕЛИЧИЕ	28
Глава 4. Наставник	29
Глава 5. Сократ	34
Глава 6. Александр	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Даниил Смиренберг
Большой договор
БОЛЬШОЙ ДОГОВОР

Даниил Смиренберг

Предисловие

Есть истории, которые человечество рассказывает себе снова и снова, в каждую эпоху на новый лад, потому что однажды рассказанные, они не отпускают ни рассказчика, ни слушателя. История о сделке с дьяволом — одна из них. Народная немецкая легенда о докторе Фаусте, драматическая поэма Гёте, роман Булгакова, где по Москве расхаживает не вполне обычный иностранный консультант, — всякий раз одна и та же завязка, один и тот же вопрос: что, если бы человеку предложили всё — знание, власть, вечность, — попросив взамен единственное, о чём он в момент искушения меньше всего склонен думать всерьёз?

Книга, которую вы держите в руках, — ещё одна попытка рассказать эту историю. Но я хотел бы, чтобы вы открыли её, зная заранее, чем она не является.

Она не является романтизацией зла. На страницах этой книги дьявол не станет для вас обаятельным циником, чьи реплики хочется выписывать в цитатник, а трагедия павшего ангела не будет поводом для сочувствия. Всякий раз, когда он выглядит слишком убедительным, слишком честным, слишком правым, — а такие моменты в этой книге есть, и намеренно, — я прошу вас помнить одно: отец лжи не всегда лжёт в словах. Куда чаще он лжёт в цели, ради которой эти слова произносит. Величайшая его хитрость — не выдумать неправду, а исказить употребление правды столь тонко, что человек не замечает, куда именно она его ведёт.

Она не является и удобной, утешительной сказкой о том, что стоит только оступиться — и всё образуется само собой, потому что грех, оказывается, не так уж и страшен, а Бог простит в любом случае, не спрашивая о цене. Милосердие, о котором эта книга говорит в своей последней трети, — не билет без ответственности. Всякая слеза, пролитая на этих страницах чужой болью по вине главного героя, остаётся пролитой. Ни одно прощение в этой книге не отменяет тяжести содеянного — оно лишь открывает дверь, через которую эту тяжесть можно наконец пронести не в одиночестве.

И последнее, о чём стоит предупредить заранее, ничего не раскрывая. Чем ближе эта книга подходит к развязке, тем осторожнее я старался обращаться с тем, что превышает возможности любого писателя, — с самой сутью веры, которую нельзя ни доказать словами, ни присвоить себе, ни договорить за Того, Кому это единственно принадлежит. В какой-то момент вы, быть может, заметите, что я нарочно перестаю называть вещи по имени. Это не недосказанность и не уклонение от ответа. Это единственная форма уважения, какую я нашёл в себе право предложить теме, о которой пишу.

Часть первая. ПАДЕНИЕ

Глава 1. Незнакомец

Москва в конце ноября похожа на человека, который устал от самого себя и уже не пытается это скрыть. Снег ещё не выпал по-настоящему — только сеялся мокрой крупой, оседая на воротниках прохожих и тут же превращаясь в грязную влагу, — а темнота приходила рано и без предупреждения, будто городу надоело притворяться, что день длится дольше, чем на самом деле.

Роберт Извеков шёл домой той же дорогой, которой ходил уже семь лет — от метро, мимо шиномонтажа с выбитой буквой в вывеске, мимо дворов с одинаковыми лавочками, мимо окон, в которых горел один и тот же синеватый свет телевизоров. Он знал эту дорогу так хорошо, что перестал её видеть. Так бывает с людьми, которых видишь каждый день на работе, за соседним столом: сначала замечаешь каждую черту, а через год уже не можешь вспомнить, какого цвета у них глаза.

Так было и с его собственной жизнью.

Роберту было двадцать девять лет. Он работал в отделе, название которого сам иногда забывал, — что-то среднее между логистикой и отчётностью, работа, которую можно делать, не приходя в сознание. У него не было семьи. Родители умерли рано, один за другим, когда Роберт был совсем маленьким, и растил его после этого старший брат — единственный человек, которого Роберт по-настоящему любил в жизни. Но и брата не стало, когда Роберту было двенадцать: несчастный случай, больница, коридор, который он не забудет никогда. С тех пор он остался один окончательно и больше никогда не пытался снова к кому-то привязаться так же сильно. Друзей не было — были знакомые, были коллеги, с которыми он мог обменяться парой фраз о погоде и футболе, но никто из них не позвонил бы ему в три часа ночи, если бы что-то случилось. Впрочем, и звонить было бы некому: телефон Роберта хранил в основном номера служб доставки.

Он был из тех людей, которых общество не замечает — не потому, что они плохие или странные, а потому, что они не создают трения. Не спорят в очередях, не привлекают внимания, не оставляют следа в разговоре после того, как выходят из комнаты. Иногда ему казалось, что если бы он исчез, город заметил бы это позже, чем заметил бы пропажу урны на углу дома.

С детства он называл себя атеистом. Говорил это твёрдо, почти с вызовом, хотя вызывать было некому — просто ему нравилось произносить это слово, оно казалось честным, взрослым, свободным от сказок, которыми пугали других детей во дворе. Бога не было — это была для него не философская позиция, а факт, вроде того, что вода замерзает при нуле градусов.

Но при этом — и Роберт никогда не мог объяснить это противоречие даже себе самому — он верил в судьбу. Верил в дурные приметы, обходил лужи с отражением фонаря, не любил число тринадцать не из суеверия толпы, а из какого-то личного, глубоко спрятанного убеждения, что мир устроен не случайно, а по некоей логике, которая просто не имеет отношения к тому Богу, о котором говорят в церквях. Он допускал тёмные силы. Допускал, что где-то в изнанке видимого мира существует нечто разумное и недоброе, куда более достоверное, чем бородатый старик на облаке. Дьявола он боялся охотнее, чем не верил в Бога.

Это было странное, перекошенное устройство души: пустое место там, где положено быть вере, и одновременно — суеверный, почти животный трепет перед тьмой.

По ночам его мучили сны. Не обычные, не те, что забываются через минуту после пробуждения, а тяжёлые, вязкие, будто кто-то нарочно опускал его в них, как в тёмную воду. Ему снились коридоры без конца. Снились лица, которые смотрели на него с картин и медленно поворачивали головы. Снился голос — не слова, а именно голос, глубокий и терпеливый, — который как будто ждал, когда Роберт наконец задаст ему вопрос, а он всё не решался.

Он просыпался в четыре утра с ощущением, что кто-то только что вышел из комнаты.

Днём это забывалось — вернее, пряталось, как прячут в дальний ящик стола вещь, на которую неприятно смотреть. Но тоска оставалась. Тоска особого рода: не по деньгам, не по женщине, не по успеху. Тоска по величию. По тому, чтобы прикоснуться собственной рукой к настоящему, огромному, безусловно важному — к истории, а не к её отражению в учебнике.

Роберт с детства читал об истории так, как другие читают о путешествиях в дальние страны, — с завистью, с тоской человека, который знает, что билет ему не по карману. Наполеон, Александр Македонский, безымянные строители соборов, философы, которые спорили о смысле жизни за две тысячи лет до его рождения, — все они казались ему настоящими, куда более настоящими, чем коллеги по отделу. Он думал о них перед сном чаще, чем о живых людях. Он мечтал — по-детски, безнадежно, — что мог бы сесть напротив любого из них и задать один-единственный вопрос, ради которого стоило бы вытерпеть собственную незаметную жизнь целиком.

Он не знал, что этот вечер станет последним вечером его прежней жизни.

Снег усилился, когда Роберт свернул с проспекта в переулок, который срезал дорогу к дому на

добрых семь минут. Переулок был почти пуст — только вдалеке маячила фигура человека с собакой, да у подъезда напротив курил кто-то в спортивной куртке. Фонари здесь горели через один, и Роберт по привычке ускорил шаг в том месте, где темнота становилась гуще.

Именно там нога его зацепилась за выступивший край плитки — то ли она была вздёрнута корнем дерева, то ли просто плохо уложена, — и он полетел вперёд, не успев ничего сообразить, выставив руки, чувствуя короткий и глупый испуг, который бывает у всех людей в момент падения: не боль, а стыд, стыд оттого, что тело вдруг стало неуправляемым.

Он упал на одно колено и ладони, ощутил, как холодная мокрая крошка асфальта впилась в кожу, и на секунду замер в этой унижительной позе, переводя дыхание.

— Больно? — спросил кто-то сверху.

Голос был странный. Не громкий, не встревоженный — а спокойный настолько, что спокойствие это казалось почти неуместным, будто человек интересовался не ушибом, а погодой.

Роберт поднял голову.

Перед ним стоял мужчина.

На первый взгляд — самый обыкновенный мужчина, каких можно встретить на улице любого крупного города: высокого роста, в длинном чёрном пальто, явно дорогом, сшитом на заказ, а не купленном в магазине. Пальто сидело на нём безупречно, без единой лишней складки, будто было продолжением тела.

Но чем дольше Роберт смотрел на него — а он смотрел дольше, чем позволяли приличия, — тем яснее чувствовал: что-то здесь не так.

Черты лица незнакомца были правильными до неестественности. Не красивыми в том смысле, в каком бывают красивы киноактёры или манекенщики, — а правильными абсолютно, симметрично, как будто их не родила природа, а вычертил кто-то с циркулем и невероятным вкусом. Осанка была настолько прямой, что казалась не результатом воспитания, а просто иным устройством позвоночника. Чёрные волосы были уложены безукоризненно — ни один волос, казалось, не смел упасть иначе, чем было предписано.

А глаза...

Роберт не мог подобрать слова. Глаза были тёмными, очень тёмными, но в них не было того, что обычно бывает в тёмных глазах — тепла, влаги, живого блеска. В них была глубина, которая не заканчивалась там, где положено заканчиваться взгляду человека. Смотреть в них было немного страшно — так же, как страшно смотреть с большой высоты вниз: не потому, что там есть что-то конкретное, а потому, что там слишком много пространства.

— Больно, — повторил незнакомец мягко, будто закончил свою мысль, а не спросил что-то новое. — Дайте руку.

Он протянул ладонь. Роберт, не успев подумать, вложил в неё свою — и его подняли с земли с лёгкостью, которая никак не вязалась с обычной человеческой силой. Будто он весил не больше пальто, оставленного на вешалке.

— Спасибо, — пробормотал Роберт, отряхивая колени, чувствуя себя неуклюжим и глупым рядом с этим спокойствием.

— Не за что, — сказал незнакомец. — Вы давно смотрите на меня так, будто пытаетесь что-то понять. Спросите прямо. Так будет честнее для нас обоих.

Роберт смутился, но вопрос уже вертелся у него на языке, и он выпустил его прежде, чем успел устыдиться собственной прямооты:

— Кто вы?

Незнакомец улыбнулся — не широко, едва заметно, одними уголками губ, — и в этой улыбке было что-то похожее на удовлетворение учителя, дождавшегося от ученика правильного вопроса.

— Летарг, — сказал он просто, будто это имя всё объясняло. — Меня зовут Летарг.

Он не назвал ни фамилии, ни рода занятий, ни того, откуда он и куда идёт. Просто стоял под мокрым снегом посреди пустого переулка, в пальто, которое не пропускало холода, и смотрел на Роберта с той же терпеливой, немного насмешливой внимательностью, с какой смотрят на человека, который вот-вот скажет что-то важное, сам того не понимая.

— Странное имя, — сказал Роберт, просто чтобы не молчать.

— Не более странное, чем ваша жизнь, Роберт Извеков.

Роберт замер.

Он был уверен — уверен абсолютно, — что никогда не называл этому человеку своего имени.

— Откуда вы...

— Я знаю о вас гораздо больше, чем вы могли бы предположить, — сказал Летарг всё тем же ровным, красивым голосом, в котором не было ни угрозы, ни торжества — только констатация факта, как если бы речь шла о результатах анализа крови. — Я знаю, что вам снятся тяжёлые сны последние несколько лет. Я знаю, что вы называете себя атеистом с двенадцати лет — с того самого вечера, когда впервые остались одни в квартире и поняли, что молиться некому, потому что никто не отвечает. Я знаю, что вы верите в судьбу больше, чем готовы признать. И я знаю, — он сделал паузу, будто взвешивая, стоит ли продолжать, — что уже много лет вы засыпаете с одной и той же мыслью: что отдали бы очень многое, лишь бы своими глазами увидеть то, о чём читаете в книгах.

Снег падал между ними медленно, будто время само замедлилось, чтобы дать этим словам дойти до Роберта в полной тишине.

— Кто вам это сказал? — спросил он, и голос его прозвучал тише, чем он рассчитывал.

— Никто, — ответил Летарг. — Я это знаю так, как знаю форму собственной руки. Мне не нужно, чтобы мне об этом рассказывали.

Он сделал шаг ближе — не угрожающий, а почти дружеский, — и Роберту вдруг показалось, что фонарь напротив стал светить чуть тусклее, хотя, возможно, это была лишь игра его воображения, взбудораженного холодом и падением.

— Вы удивлены, — продолжал незнакомец, — но не так сильно, как должны были бы удивиться. Часть вас, Роберт, всю жизнь ждала этого разговора. Часть вас знала, что однажды перед ней остановится кто-то на пустой улице и скажет: я знаю, кто ты на самом деле, и знаю, чего ты хочешь по-настоящему.

— Что мне нужно, по-вашему? — спросил Роберт, и в вопросе этом уже не было прежней бравады — только настоящее, почти детское любопытство, смешанное со страхом.

Летарг посмотрел на него долгим взглядом — тем самым взглядом, в котором было слишком много пространства, — и произнёс так тихо, что снег вокруг, казалось, тоже стих, чтобы не мешать:

— Вам нужна вечность, Роберт. Не долгая жизнь. Не деньги, не слава, не женщина, которая наконец заметит вас в толпе. Вам нужно время — столько времени, сколько хватит, чтобы перестать быть никем. Столько времени, чтобы сесть напротив каждого великого человека, когда-либо жившего на этой земле, и наконец получить ответы, ради которых стоило родиться.

Он помолчал.

— И я, — добавил он спокойно, — могу вам это дать.

Роберт стоял неподвижно, чувствуя, как холод из-под коленей поднимается куда-то в грудь, но это уже не было холодом от мокрого асфальта. Где-то очень глубоко внутри него, в том самом месте, где жила тоска по величию и вера в судьбу вопреки всякому атеизму, что-то дрогнуло — не от страха, а от узнавания. Будто он всю жизнь ждал именно эту фразу и теперь, услышав её, не мог понять, снится она ему или происходит на самом деле.

— Кто вы такой, — повторил он тише, почти шёпотом, — что можете такое обещать?

Летарг улыбнулся снова — на этот раз чуть шире, — и в глазах его, в этой бездонной, нечеловеческой глубине, на мгновение мелькнуло что-то похожее на тепло. Или на голод. Роберт не смог бы сказать, что именно.

— Идёмте, — сказал он вместо ответа. — Здесь холодно, а разговор нам предстоит долгий. И, поверьте, вы захотите услышать его до конца.

Он повернулся и пошёл вперёд по переулку — неторопливо, так, будто точно знал, что Роберт последует за ним.

И Роберт последовал.

Он не мог бы объяснить, почему. Не мог бы сказать, что было сильнее в эту минуту — страх или та самая тоска, которая столько лет не давала ему покоя по ночам. Он лишь знал одно: что-то в его жизни только что закончилось, ещё до того, как что-то новое успело начаться.

Мокрый снег заметал их следы почти сразу же, будто торопился стереть последние доказательства того, что этот вечер был обычным.

Роберт ожидал, что они дойдут до какого-нибудь кафе — из тех неприметных заведений с жёлтым светом и запахом кофе из пакета, где допоздна сидят таксисты и одинокие студенты. Или, может быть, до подъезда, до квартиры, до машины. Он ожидал чего-то, что можно было бы вписать в привычные рамки: место, адрес, стены.

Вместо этого переулок вывел их не туда, куда он вёл всегда.

Роберт знал этот переулок семь лет. Знал, что он заканчивается двором с гаражами и выходом на параллельную улицу. Но сейчас переулок будто стал длиннее, чем был, — или короче, он не мог бы сказать точно, — и там, где раньше стояли гаражи, теперь оказалась небольшая площадь,

вымощенная старым, стёртым камнем, какого не бывает в этом районе Москвы. Посередине площади стояла одинокая скамья под фонарём, свет которого был тёплым, жёлтым, не похожим на казённый синеватый свет городских ламп.

Роберт остановился.

— Где мы? — спросил он, и голос его прозвучал глухо, будто воздух здесь был другой плотности.

— Там же, где были, — спокойно ответил Летарг, сядя на скамью и жестом приглашая Роберта сесть рядом. — Просто вы наконец смотрите внимательно.

— Это не может быть тот же переулок.

— Мир устроен куда менее жёстко, чем вам кажется, Роберт. Улицы, стены, расстояния — всё это условности, к которым вы привыкли, потому что иначе не привыкли ни к чему. — Летарг положил ногу на ногу, откинулся на спинку скамьи с той же безупречной осанкой, с

какой стоял на асфальте минуту назад. — Присядьте. Я обещал вам разговор, а не экскурсию по географии.

Роберт медлил. Он оглянулся — переулок позади них по-прежнему уходил во тьму, фонари всё так же горели через один, снег так же падал крупными мокрыми хлопьями. Всё было обычным, кроме этой площади, будто кто-то вырезал кусок другого мира и аккуратно наклеил его в знакомый пейзаж.

Он сел. Скамья была холодной, как и положено скамье в конце ноября, и от этого странного, до нелепости бытового ощущения холода под ладонями Роберту стало немного легче — будто это доказывало, что он всё ещё существует в теле, а не превратился в героя чужого сна.

— Вы сказали, что можете дать мне вечность, — начал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрже, чем он себя чувствовал. — Я хочу понять, что вы имеете в виду. Буквально.

— Буквально, — повторил Летарг с едва заметным удовольствием, как будто ему нравилось это слово. — Хорошо. Тогда буду говорить буквально, и прошу вас — слушайте до конца, прежде чем задавать вопросы. Вопросов у вас будет много, и я отвечу на каждый. Но сначала позвольте мне закончить мысль целиком, иначе мы утонем в частностях раньше, чем доберёмся до сути.

Роберт кивнул.

— У вас есть одна жизнь, — сказал Летарг. — Одна, ограниченная, короткая по меркам истории, которую вы так любите. Вы родитесь, проживёте семьдесят, восемьдесят лет, если повезёт, и умрёте, так и не увидев ничего из того, что заставляет ваше сердце биться быстрее по ночам. Вы никогда не увидите Афин при Перикле. Никогда не заговорите с человеком, стоявшим на палубе корабля, открывавшего новый континент. Никогда не спросите у тирана, зачем он выбрал кровь вместо мира, а у святого — зачем он выбрал одиночество вместо семьи. Ваша жизнь пройдёт в отделе с названием, которое вы сами забываете, среди людей, которые не вспомнят вас через месяц после вашей смерти. Это не оскорбление, Роберт. Это просто арифметика человеческой жизни, и вы знаете её лучше многих, потому что живёте с этим знанием каждый день.

Он произнёс это без жестокости — почти с сочувствием, — и от этого было ещё труднее сопротивляться.

— Я предлагаю вам другую арифметику, — продолжал Летарг. — Не бесконечную жизнь в этом мире — это было бы жестоко, поверьте, вечно стареть среди смертных было бы худшим из проклятий. Я предлагаю вам иное: реальность, созданную специально для вас, где время течёт не так, как здесь. Одна ночь в Москве может вместить века внутри неё. Вы проживёте столько субъективного времени, сколько вам необходимо, чтобы наконец получить всё, чего вы хотели. Вы будете ходить по любой эпохе, какую пожелаете. Говорить с любым человеком, когда-либо изменившим историю. Не смотреть на них из-за стекла учебника — сидеть напротив, спорить, спрашивать, слушать ответы, которые никто, кроме вас, никогда не услышит.

— Реальность, созданная специально для меня, — медленно повторил Роберт. — Значит, ненастоящая.

Летарг посмотрел на него с интересом, будто именно этого вопроса и ждал.

— Что вы называете настоящим? — спросил он. — Боль, которую вы почувствуете, когда вас ударят? Она будет настоящей. Голод, холод, страх, радость, любовь, если вам повезёт её испытать там, — всё это будет настоящим для вас так же, как настоящим кажется вам сейчас этот холод под ладонями. Единственное, чего не будет, — это последствий для того мира, который существует здесь, за пределами моего дара. Подлинную историю человечества, Роберт, ту, что сотворена — назовём вещи своими именами — вашим Богом, изменить невозможно. Не мне, не вам, никому. Она идёт своим руслом, как шла тысячи лет, и продолжит идти этим же руслом, даже если вы проживёте внутри моего дара пять тысяч лет подряд. То, что я пред-

лагаю, — не власть над настоящей историей. Это ваша собственная история, созданная так достоверно, что разницы вы не почувствуете никогда.

— Тогда в чём смысл? — тихо спросил Роберт. — Если я не буду говорить с настоящим Наполеоном...

— Вы будете говорить с Наполеоном настолько настоящим, насколько вообще может быть настоящим человек, которого вы способны воспринять органами чувств, — перебил Летарг, впервые за весь разговор с лёгким нажимом в голосе. — Подумайте, Роберт: что вы называете «настоящим Наполеоном»? Человека, умершего почти два века назад, тело которого истлело на острове посреди океана? Или ту сумму его мыслей, решений, слов, которую можно воссоздать с абсолютной точностью — вплоть до последней морщины и последней интонации? Если копия неотличима от оригинала ни для кого, включая вас самого, — какое имеет значение слово «копия»?

Роберт молчал. Снег падал на его плечи и не таял — он заметил это только сейчас, и это показалось ему страшнее всего сказанного до этой минуты.

— Вы говорите об этом так, будто уже всё решили за меня, — сказал он наконец.

— Я ничего не решаю за вас, — ответил Летарг мягко. — В этом и заключается единственное условие, которое я обязан соблюсти: выбор должен быть вашим. Полностью, безоговорочно вашим. Я могу предложить, могу объяснить, могу даже — чего уж скрывать — искушать вас красотой этого предложения. Но подписать должны вы сами, по доброй воле, понимая цену.

— Какова цена?

Летарг чуть повернул голову — медленно, будто нехотя, — и Роберт впервые за весь разговор увидел на его безупречном лице что-то похожее на настоящее выражение: не торжество, а сосредоточенность, почти уважение к серьёзности вопроса.

— Ваша душа, — сказал он просто. — Как и полагается в историях, которые вы, возможно, слышали в детстве, хотя, полагаю, считали сказками для тех, кто слабее духом, чем вы.

Он произнёс это без всякой театральности — так же спокойно, как называл своё имя минуту назад, — и от этого спокойствия слова прозвучали куда весомее, чем если бы он их прокричал.

Роберт почувствовал, как у него пересохло во рту.

— Вы... дьявол, — сказал он, и это была не совсем формулировка вопроса, скорее — попытка произнести вслух то, что уже некоторое время оформлялось где-то в глубине сознания, куда более медленно, чем следовало бы для человека, привыкшего считать себя рациональным.

Летарг не ответил ни да, ни нет. Он лишь слегка наклонил голову, будто позволяя Роберту самому додумать ответ, и в этом молчании было больше подтверждения, чем в любых словах.

— Вы не удивлены так, как должны были бы, — заметил он вместо ответа. — Вы всю жизнь не верили в Бога, Роберт, но никогда до конца не переставали верить в меня. Это забавная особенность вашего вида: отрицать свет куда легче, чем отрицать тьму. Тьму вы чувствуете кожей, даже когда закрываете на неё глаза.

— Если я соглашусь, — сказал Роберт медленно, стараясь удержать голос ровным, хотя внутри у него всё дрожало, — что будет с моей душой после того, как... после того, как я проживу там всё, что захочу?

— Она станет моей, — сказал Летарг без обиняков. — Не сразу — по окончании вашего земного срока здесь, в этом теле, в этом городе. Вы проживёте свою обычную жизнь до конца, состаритесь или не состаритесь, умрёте так, как умирают все люди. Но то, что после называется душой, отойдёт мне. Таковы условия. Я не буду лгать вам об этом, потому что ложь мне не нужна: правда искушает куда сильнее, чем самая красивая ложь, если человек действительно хочет того, что ему предлагают.

Он подождал, давая словам осесть, и добавил чуть тише, почти доверительно:

— Спросите себя честно, Роберт: чего вы боитесь больше — потерять то, во что вы не верите, или до самой смерти прожить жизнь, в которой так и не получили ни одного ответа?

Снег продолжал падать. Где-то далеко, за пределами этой странной площади, прогудела машина — обычный, до слёз обыденный звук человеческого города, — и Роберт вдруг с ужасом понял, что этот звук кажется ему сейчас куда менее реальным, чем голос сидящего рядом существа.

— Мне нужно подумать, — сказал он тихо.

— Разумеется, — ответил Летарг, и в голосе его не было ни разочарования, ни нетерпения — только спокойное, почти отеческое согласие. — Я никуда не тороплюсь, Роберт. У меня, в отличие от вас, есть всё время мира.

Он поднялся со скамьи одним плавным движением, и Роберт, сам не заметив как, тоже встал — точно тело послушалось раньше, чем решил разум.

— Мы ещё встретимся? — спросил он.

Летарг посмотрел на него долгим взглядом, в котором на секунду мелькнуло что-то похожее на печаль — если предположить, что подобные существа вообще способны на печаль.

— Мы никогда не расставались по-настоящему, Роберт, — сказал он. — Просто до сегодняшнего

вечера вы не умели меня видеть.

Он повернулся и пошёл в глубину странной площади — туда, где жёлтый свет фонаря постепенно растворялся в темноте, — и с каждым его шагом камни мостовой под ногами Роберта будто снова становились асфальтом, гаражи снова вырастали там, где им полагалось быть, а знакомый двор возвращался на своё привычное место.

Когда Роберт моргнул, Летарга уже не было.

Он стоял один посреди знакомого переулочка, засыпанного мокрым снегом, и не мог с уверенностью сказать, сколько времени прошло — пять минут или час. Часы на телефоне показывали ровно столько же, сколько показывали, когда он выходил из метро.

Он не был уверен, что вообще падал. Не был уверен, что вообще с кем-то разговаривал.

Но колени под мокрыми джинсами саднили совершенно по-настоящему, и этого было достаточно, чтобы всю дорогу до дома идти молча, не отвечая самому себе на единственный вопрос, который теперь будет мучить его каждую ночь до тех пор, пока он не даст на него ответ.

Глава 2. Голос, который знает всё

Три дня Роберт убеждал себя, что ничего не произошло.

Это была старая, хорошо отработанная привычка — убеждать себя, что тяжёлые сны не в счёт, что странности можно списать на усталость, на нехватку сна, на тот особый род одиночества, который к тридцати годам начинает искажать восприятие реальности не хуже алкоголя. Он ходил на работу. Заполнял таблицы, отвечал на письма, обедал в одиночестве в столовой на первом этаже, где по четвергам всегда подавали слишком жидкий суп. Всё было обыкновенно, вплоть до мелочей, и именно эта обыкновенность казалась теперь Роберту особенно хрупкой — будто он шёл по тонкому льду, старательно глядя себе под ноги, чтобы не увидеть, что там, под коркой, чернеет вода.

Он говорил себе, что незнакомец в чёрном пальто был плодом переутомления. Что странная площадь с каменной мостовой ему привиделась — в темноте, после падения, после короткого удара головой о неудачно подвернувшуюся мысль. Он даже вернулся на следующий день в тот переулок при свете дня, специально сделав крюк по дороге на работу, и увидел ровно то, что ожидал увидеть: гаражи, помойные баки, ту же выщербленную плитку, о которую споткнулся. Никакой площади. Никакой скамьи. Обычный двор спального района, каких в Москве тысячи.

Это должно было его успокоить.

Вместо этого стало страшнее.

На третью ночь ему в очередной раз приснился коридор — тот самый, без конца, с картинами на стенах, — но на этот раз в конце коридора стояла дверь, которой не было прежде. Он подошёл к ней во сне, взялся за ручку — холодную, латунную, слишком отчётливую для сна, — и проснулся за секунду до того, как успел её открыть, с бешено колотящимся сердцем и полной уверенностью, что за дверью его кто-то ждал.

Он сидел в темноте своей однокомнатной квартиры, слушал, как за окном проезжают редкие в этот час машины, и впервые за долгое время произнёс вслух, обращаясь неизвестно к кому:

— Хорошо. Я хочу знать больше.

Ответа не последовало. Но следующим вечером, возвращаясь с работы уже привычной дорогой — на этот раз намеренно выбрав тот самый переулок, будто проверяя себя, — Роберт увидел Летарга.

Тот стоял у той же выщербленной плитки, будто ждал его именно здесь и именно сейчас, и в вечернем свете, ещё не до конца погасшем, выглядел таким же безупречным, каким запомнился три дня назад: то же пальто, та же осанка, то же спокойствие в лице, не тронутым ни холодом, ни усталостью, ни временем.

— Вы всё-таки пришли, — сказал Роберт, останавливаясь в нескольких шагах.

— Я никуда не уходил, — ответил Летарг с лёгкой улыбкой. — Просто ждал, пока вы перестанете убеждать себя, что меня не существует. Это заняло у вас на день больше, чем я предполагал. Вы упрямее, чем кажется.

Роберт почувствовал укол раздражения — редкая для него эмоция, которую он давно разучился испытывать по отношению к чему бы то ни было.

— Вы наблюдали за мной?

— Мне не нужно наблюдать, Роберт, — сказал Летарг спокойно. — Я уже сказал вам это при первой встрече, но, полагаю, вы решили, что это была фигура речи. Позвольте мне доказать вам, что это не так.

Он не двинулся с места, но сама атмосфера вокруг него будто сгустилась — Роберт не смог бы объяснить это иначе, — и голос Летарга, когда тот заговорил снова, стал чуть тише, почти интимнее, как голос человека, читающего чужой дневник вслух его владельцу.

— Вам семь лет, — начал он. — Лето. Вы стоите у окна бабушкиной квартиры в Коломне, смотрите на грозу, и вам кажется, что молния разговаривает лично с вами. Вы никому не рассказали об этом, потому что боялись, что вас сочтут странным ребёнком. Вы были правы — вас бы сочли странным. Но молния действительно на секунду показалась вам живой, и вы запомнили это ощущение на всю жизнь, хотя ни разу с тех пор не произнесли вслух ни слова об этом вечере.

Роберт почувствовал, как у него сдавило горло.

— Откуда...

— Тише, — сказал Летарг, поднимая палец, не грубо, а почти по-отечески. — Я не закончил.

Он продолжал, и голос его звучал теперь как течение реки — ровный, неостановимый, затягивающий:

— Вам двенадцать. Ваш старший брат — единственный человек, который у вас тогда ещё оставался, единственный, кто заменял вам сразу и отца, и мать, — умирает в больнице после аварии, и вы, стоя в коридоре, впервые в жизни молитесь по-настоящему: отчаянно, шёпотом, глотая слёзы, обещая Богу что угодно, лишь бы Он оставил вам хоть кого-то. А через сорок минут врач выходит и говорит, что брат не проснётся. С этого дня вы решаете, что Бога нет, потому что если бы Он был, Он бы ответил хоть раз, хоть одному ребёнку, у которого не осталось никого на всём свете. Но вы никогда не признавались себе, что дело не в отсутствии Бога, а в том, что вам стало слишком больно верить в Того, Кто мог оставить вам брата и не оставил. Это не атеизм, Роберт. Это обида, которую вы носите пятнадцать лет и называете философской позицией, потому что обида звучит слишком по-детски для взрослого мужчины, оставшегося совсем одного.

— Прекратите, — тихо сказал Роберт.

Летарг не прекратил.

— Вам двадцать три. Девушка, с которой вы встречались полтора года — единственная, кому вы позволили подойти к себе достаточно близко, — уходит от вас со словами, что с вами невозможно быть рядом, потому что вы «всегда где-то ещё». Она была права больше, чем сама понимала: вы действительно всегда были где-то ещё — в Древнем Риме, в наполеоновских войнах, в разговорах, которые никогда не происходили, потому что происходили только у вас в голове. С тех пор вы не пытались снова. Вы сказали себе, что вам это не нужно, и почти в это поверили.

Роберт стоял неподвижно, чувствуя, как земля под ногами будто стала менее твёрдой.

— Достаточно, — сказал он громче, чем хотел.

Летарг замолчал — не потому, что подчинился, а потому, что сам счёл нужным остановиться, — и посмотрел на Роберта с тем же выражением, которое Роберт уже видел однажды: смесью чего-то похожего на сочувствие и чего-то похожего на голод, слитых в одно неразличимое чувство.

— Я не рассказываю вам это, чтобы причинить боль, — сказал он мягче. — Я рассказываю это, чтобы вы перестали сомневаться в одном простом факте: я знаю о вас всё. Не отдельные эпизоды, которые можно было бы подсмотреть или выведать у соседей. Всё — включая то, в чём вы никогда не признавались даже себе в темноте, наедине с собственными мыслями. И раз я знаю это, Роберт, значит, я знаю и то, что вы хотите на самом деле, глубже, чем вы позволяете себе хотеть.

— И чего же я хочу?

— Не мести миру за одиночество, — сказал Летарг. — Не денег, не власти в том мелком смысле, в каком её понимают ничтожные люди. Вы хотите значить что-то. Не для случайных прохожих — для истории. Вы хотите, чтобы существование, которое началось так незаметно, закончилось не пустым местом, а тем, что коснулось величайших событий, когда-либо случав-

шихся с людьми. Вы всю жизнь стоите у окна, Роберт, глядя, как гроза говорит с кем-то другим. Я предлагаю вам войти в грозу.

Он сделал паузу, и в этой паузе Роберт впервые ощутил не страх, а нечто более опасное — узнавание, почти облегчение от того, что кто-то наконец назвал вслух то, что он прятал от самого себя пятнадцать лет.

— Почему я? — спросил он тихо. — Из всех людей в этом городе — почему именно я?

Летарг ответил не сразу. Он посмотрел куда-то поверх плеча Роберта, будто рассматривал что-то, видимое лишь ему одному, и когда заговорил, в голосе его впервые прозвучало что-то похожее на настоящую задумчивость.

— Потому что вы один из немногих, кто одновременно достаточно одинок, чтобы никто не удержал вас здесь, и достаточно горд, чтобы поверить, что заслуживаете большего, чем вам досталось, — сказал он. — Большинство людей либо слишком привязаны к тем, кого любят, чтобы рискнуть душой ради собственного величия, либо слишком смиренны, чтобы вообще подумать о подобном предложении. Вы — редкое сочетание того и другого: пустота вокруг вас и гордыня внутри вас. Это не оскорбление, Роберт. Это диагноз, который делает вас идеальным собеседником для разговора, который мы ведём.

Роберт вздрогнул от этого слова — «гордыня», — но не нашёл в себе сил возразить.

— Я ещё не решил, — сказал он вместо этого.

— Знаю, — ответил Летарг спокойно. — И не тороплю вас. Но позвольте задать вам один вопрос, Роберт, прежде чем мы расстанемся сегодня. Только один — и я прошу вас ответить не мне, а самому себе, вслух, здесь, среди этих гаражей, где никто вас не услышит, кроме меня.

— Спрашивайте.

— Сколько ещё вечеров вы готовы провести, стоя у окна, — тихо спросил Летарг, — прежде чем решите, что заслуживаете войти внутрь грозы?

Он не стал дожидаться ответа. Развернулся так же плавно, как в прошлый раз, и пошёл в сторону, противоположную дому Роберта, — не растворяясь мгновенно, как в переулке три дня назад, а просто уходя, шаг за шагом, пока его силуэт не смешался с сумерками так естественно, что Роберт не смог бы указать точный момент, когда он исчез.

Роберт остался один среди гаражей, чувствуя, как в груди у него медленно, но необратимо созревает решение, которого он ещё не смел произнести вслух даже себе самому.

Той ночью ему впервые за много лет не приснился ни один сон.

Он проснулся с ощущением странной, страшной ясности — будто всю жизнь смотрел на мир сквозь мутное стекло, а теперь кто-то наконец протёр его дочиста, — и, лёжа в темноте, глядя в потолок, тихо произнёс вслух то единственное слово, которое, как он теперь понимал, было предрешено ещё с той грозы в Коломне, ещё с того больничного коридора, ещё с той двери в конце бесконечного коридора, которую он так и не решился открыть во сне.

— Да, — сказал он.

И где-то далеко, будто в ответ, за окном коротко, без грома, полыхнула зарница — хотя стоял конец ноября, и никакой грозы в это время года взяться было неоткуда.

Глава 3. Договор

Он не помнил, как заснул. Помнил только, что лежал в темноте, глядя в потолок, и произносил это единственное слово — «да» — снова и снова, будто пробуя его на вкус, привыкая к его тяжести, как привыкают к тяжести кольца, надетого впервые. А потом темнота вокруг стала другой темнотой: не той, что бывает в спальне зимней ночью, с полосками уличного света на потолке, а той, что бывает перед тем, как открыть глаза в незнакомом месте — густой, бархатной, будто сама ночь решила стать чем-то большим, чем просто отсутствие света.

Он открыл глаза — и понял, что не спит. Или спит. Он больше не был уверен, что разница между этими двумя состояниями вообще имеет значение. Позже, много позже, вспоминая эту ночь, он будет думать, что именно в этот миг граница между сном и явью впервые истончилась настолько, что перестала быть границей вообще, — как истончается лёд к весне, ещё держит вес человека, но уже не держит его уверенности.

Роберт стоял посреди зала, которого не могло существовать в реальном мире, и в то же время он был убеждён — с той абсолютной, необъяснимой убеждённостью, какая бывает только во сне, — что зал этот существовал всегда, задолго до того, как он в нём оказался. Задолго до Москвы. Задолго до самого времени, если предположить, что время вообще понадобилось в начале, чтобы существовать в подобном месте.

Стены уходили ввысь так далеко, что терялись в темноте — не в потолке, а именно в темноте, будто помещение не имело верхней границы вовсе, будто оно было вывернуто наизнанку, и то, что снаружи любого другого здания было бы небом, здесь стало просто продолжением стен, уходящих в бесконечность. Пол был выложен чёрным полированным камнем, гладким, как поверхность неподвижной воды в безветренную ночь, и камень этот сам будто дышал ровным, безмянным светом — не отражая его, не источая, а просто будучи им, каждой своей гранью, как бывает светел иней на морозном стекле безо всякого солнца за окном.

И только взглядевшись внимательнее, Роберт заметил то, от чего у него похолодело внутри сильнее, чем от всего остального: свет в этом зале был — мягкий, ровный, лежащий на камень и на лицо Летарга без единой резкой тени, — но не было ни единого источника этого света. Ни ламп, ни огня, ни хотя бы отблеска на стенах, который выдавал бы, откуда он берётся. Он не исходил ниоткуда вообще. Он просто был — как бывает воздух, как бывает тишина, — не рождённый ни одной точкой пространства, а разлитый повсюду сразу, будто сам зал излучал его каждой своей гранью, каждым камнем пола, каждой невидимой во тьме стеной. Роберт поднял взгляд к потолку, которого не было, ища глазами хоть что-то — люстру, окно, разлом в темноте, откуда мог бы литься этот свет, — и не нашёл ничего. Свет был здесь так же, как здесь было время: подчинённый не законам, а чьей-то воле, и воля эта не считала нужным ничего объяснять.

Не было ни окон, ни дверей, которые он мог бы различить взглядом. Не было звука вообще — ни малейшего шороха, ни дыхания, ни скрипа, — и эта абсолютная беззвучность казалась плотнее любого шума, будто тишина здесь была не отсутствием звука, а отдельной, самостоятельной субстанцией, занявшей собой всё пространство без остатка.

Посреди зала стоял стол.

Обычный на вид стол — тёмного дерева, старинной, тяжёлой работы, с ножками, изогнутыми той сложной резьбой, какую умели делать мастера, чьи имена стёрлись из памяти человечества быстрее, чем их работа, — и на нём лежал единственный предмет: лист бумаги, слишком белый для этого мрака, будто вырезанный прямо из другого, более обычного мира и брошенный сюда, как последнее доказательство того, что где-то ещё существует день.

Летарг стоял по другую сторону стола.

Он не сидел — стоял, спокойно сложив руки перед собой, и в этом мертвенно-неподвижном зале выглядел единственным существом, для которого пространство это было домом, а не тюрьмой. Безымянный свет ложился на его лицо так, что не отбрасывал теней в тех местах, где им полагалось быть, — и Роберт, глядя на него, вдруг подумал, что смотрит не на человека и не на демона, а на нечто вроде драгоценного камня безупречной огранки: слишком совершенного, чтобы быть живым, и слишком спокойного, чтобы быть мёртвым.

— Вы пришли, — сказал он, и голос его прозвучал не громко, но заполнил собой весь зал целиком, до самых теряющихся во тьме стен, так, как заполняет пространство орган в пустом соборе — не потому, что звук усиливается стенами, а потому, что самим стенам, кажется, только и нужно было дожидаться этого звука, чтобы обрести смысл. — Я знал, что придёте. Но признаюсь честно, Роберт: я рад, что вы не заставили меня ждать дольше. Ожидание — единственная роскошь, которую я не умею ценить, хотя владею ею в избытке.

— Где мы? — спросил Роберт, и собственный голос показался ему чужим — тонким, слишком человеческим для этого пространства, как показался бы неуместным плеск ручья посреди безмолвной, окаменевшей пустыни.

— Там, где заключаются подобные договоры, — ответил Летарг просто. — Название этому месту не имеет значения, как не имеет значения имя реки для человека, который тонет в ней впервые. Важно другое: здесь время не течёт так, как снаружи. Пока мы разговариваем, в вашей спальне не проходит ни секунды. Часовая стрелка на вашем будильнике замерла, будто сама застыдилась мысли двигаться дальше без вашего ведома. Вы можете задавать любые вопросы, сколько угодно, и я отвечу на каждый — у нас впереди вся ночь, если она вам понадобится. А ночь здесь, поверьте, куда просторнее, чем кажется снаружи.

— А свет? — спросил Роберт, всё ещё глядя вверх, туда, где темнота отказывалась превращаться в потолок. — У него нет источника. Я вижу вас, вижу стол, вижу свои собственные руки — но не вижу ничего, что могло бы всё это освещать.

Летарг взглянул на него с чем-то похожим на одобрение — так смотрит наставник на ученика, задавшего вопрос, который положено задать, но который задают не все.

— Вы наблюдательны, — сказал он. — Большинство людей, оказавшись здесь, слишком заняты страхом, чтобы вообще поднять взгляд от собственных рук и заметить эту деталь, а между тем именно в ней — суть всего происходящего с вами сегодня. Свет, у которого нет источника, — это свет, рождённый не для того, чтобы что-то освещать снаружи, а для того, чтобы вы могли видеть изнутри. Это не солнце и не пламя, Роберт. Это скорее подобие того света, каким видят собственную память во сне: он не проникает извне сквозь зрачок, он уже есть внутри самого видения. Здесь всё устроено так же. Этот зал светел не потому, что где-то в нём спрятана лампа, а потому, что он весь целиком — часть того, что происходит сейчас между нами, а между нами не должно оставаться теней, пока мы говорим о вещах столь серьёзных.

— Значит, это не настоящее место.

— Оно ровно настолько настоящее, насколько настоящим является этот разговор, — ответил Летарг. — А разговор, поверьте, будет иметь для вас самые настоящие последствия, куда более настоящие, чем большинство событий вашей прежней, куда более освещённой солнцем жизни.

Роберт подошёл к столу. Лист бумаги оставался безукоризненно белым, без единой буквы, без единой линии, — и это отсутствие текста почему-то пугало сильнее, чем любой самый устрашающий контракт, исписанный мелким готическим шрифтом. Пустая страница, подумал он, страшнее исписанной ровно потому, что на ней ещё можно написать что угодно, — а свобода написать что угодно пугает человека куда сильнее, чем готовый приговор.

— Здесь ничего не написано, — сказал он.

— Пока нет, — согласился Летарг. — Текст появится в тот момент, когда вы будете готовы его прочитать, — не раньше. Условия эти не пишутся заранее, Роберт. Они складыва-

ются из вашего собственного желания, слово за словом, по мере того как вы произносите его вслух, — так же, как складывается мелодия не из нот, записанных прежде, чем родился композитор, а из тишины, которую он решается наконец нарушить. Я лишь скрепляю то, что вы решаете сказать. Я не пишу вашу судьбу, Роберт. Я всего лишь придаю форму тому, что вы носите в себе уже много лет без формы, — так скульптор не создаёт мрамор, а лишь освобождает из него то, что мрамор скрывал с самого начала.

— Это похоже на уловку.

— Это похоже на честность, которой вы не привыкли ожидать от меня, — сказал Летарг с едва заметной улыбкой, и в этой улыбке было что-то от терпения старого учителя, знающего, что ученик непременно задаст этот вопрос, и заранее приготовившего для него ответ, отточенный за столетия повторения. — Ложь, видите ли, годится для мелких сделок, для торговцев и обманутых жён. Для того, что происходит между нами сейчас, ложь слишком дёшева. Я предпочитаю искушать вас правдой — правда, преподнесённая красиво, действует сильнее любой лжи, потому что с ней невозможно спорить, а спорить с тем, с чем невозможно спорить, — самое утомительное занятие на свете. Извольте, задавайте вопросы. Я обещал вам разговор, полный настолько, насколько вам нужно, и я держу обещания куда добросовестнее, чем принято думать о существах вроде меня.

— Тогда позвольте спросить прямо, — сказал Роберт, чувствуя, как в груди у него растёт нечто вроде смелости — той отчаянной смелости, что рождается не из силы, а из усталости бояться. — Если Бог существует, как вы сами намекаете, — почему Он позволяет этому разговору происходить? Почему Он не остановит меня?

Летарг склонил голову набок — жест, в котором было что-то птичье, нечеловеческое, будто он в самом деле обдумывал вопрос, а не заготовил ответ заранее.

— Потому что Он никогда никого не останавливает, Роберт, — сказал он тихо. — В этом всё дело, вся боль и вся красота вашего мира. Он дал вам свободу настолько полную, что не отнимает её даже тогда, когда вы используете её против собственного спасения. Я мог бы солгать вам и сказать, что Его здесь нет, что этот зал — вне Его власти, тайное убежище, куда не достигает Его взгляд. Но это было бы дешёвым фокусом, недостойным серьёзности нашего разговора. — Он произнёс это с лёгкой, едва уловимой паузой, точно любуясь собственной фразой чуть дольше, чем того требовала простая констатация факта, — паузой, которую Роберт не сумел бы облечь в подозрение, но которую всё же ощутил, сам не зная почему, как нечто чуть менее случайное, чем позволяла себе казаться вся эта речь. — Он видит нас с вами сейчас так же ясно, как видел бы, стой мы посреди Его храма. Он просто не вмешается. Он ждёт — так отец ждёт у окна, зная, что сын идёт по краю крыши, но не выбегает силой стащить его вниз, потому что знает: единственная ценность в этом мире — свобода, купленная ценой возможной

беды.

— Это звучит как оправдание.

— Это звучит как трагедия мироздания, — мягко поправил Летарг. — И я не оправдываю Его, Роберт, я лишь объясняю правила, по которым Он играет — если позволите мне столь дерзкое слово применительно к Нему. Он мог бы создать вас марионетками, послушными, безопасными, неспособными на грех, а значит, неспособными и на любовь, потому что любовь без свободы отказаться от неё — не любовь, а всего лишь механизм. Он выбрал риск. Он выбрал вас — таким, каким вы стоите сейчас передо мной, свободным настолько, что способны продать душу существу вроде меня, и не менее свободным, чтобы в любой момент до подписания повернуться и уйти в темноту, из которой пришли. Я, признаться, нахожу эту Его щедрость почти невыносимой. Но кто я такой, чтобы судить щедрость? — Последние слова он произнёс с усмешкой настолько лёгкой, что она могла показаться самоиронией, — и всё же в глазах его, в той самой нечеловеческой их глубине, на миг мелькнуло нечто, чему Роберт тогда

не подобрал бы имени, но что много позже, в самом конце своего странствия, он назвал бы про себя одним-единственным словом: зависть.

Роберт вдохнул — и с удивлением понял, что воздух в этом зале не имел запаха. Ни сырости, ни пыли, ни намёка на дым или гарь. Пустота, обёрнутая в подобие воздуха, как безмолвие бывает иногда обёрнуто в подобие музыки — форма без содержания, оболочка, сохранившая очертания смысла, но не сам смысл.

— Если я подпишу это, — начал он медленно, подбирая слова с осторожностью человека, ступающего по тонкому льду над очень глубокой водой, — что произойдёт со мной в тот же миг? Здесь, в этом теле?

Летарг ответил не сразу — и в этом молчании было что-то от врача, который медлит перед тем, как назвать диагноз человеку, ещё не понимающему всей его тяжести.

— Оно останется здесь, Роберт, — сказал он наконец. — Там, где вы упали три дня назад. Оно не умрёт в том смысле, в каком умирают люди, — оно просто перестанет быть тем, чем было. Ни голода, ни старения, ни тлена. Ни одного удара сердца, в котором был бы смысл, потому что вас в нём больше не будет. Оно станет пустой комнатой, из которой хозяин ушёл надолго, — не мёртвой, но и не живой в привычном смысле, — а вы сами, всё, чем вы являетесь на самом деле, перейдёте туда, в реальность, которую я вам дарю, и останетесь там столько субъективного времени, сколько пожелаете.

Роберт почувствовал, как у него сжалось горло.

— Значит, я не вернусь? Не буду жить обычной жизнью, ходить на работу, стареть?..

— Нет, — сказал Летарг мягко, почти сочувственно. — Это не путешествие, из которого возвращаются каждое утро, как из короткого сна. Это уход — полный, безостаточный, — и в этом, Роберт, единственная подлинная цена, которую я прошу заплатить ещё до того, как речь зайдёт о душе: цену разлуки с этим миром на весь срок вашего странствия. Зато вообразите: пока вы будете жить века и тысячелетия там, здесь, в Москве, не пройдёт почти ничего. Возможно, одно дыхание. Возможно, один удар вашего застывшего сердца. Время этого мира не станет ждать вас, оно попросту не заметит вашего отсутствия, — потому что для него вы отсутствовали неощутимо мало.

— Значит, снаружи никто не заметит разницы.

— Именно потому, что заметить будет некому, — сказал Летарг, и в голосе его прозвучало что-то похожее на печальную нежность. — Вспомните, Роберт: у вас нет жены, которая утром нашла бы пустую подушку рядом с собой. Нет детей, которые ждали бы вас у порога школы. Нет друга, который позвонил бы вам вечером и, не дождавшись ответа, встревожился бы. Ваше отсутствие в этом мире пройдёт настолько незаметно, что сам этот мир не успеет даже осознать его — а если бы и успел, то заметил бы разве что человека, странно неподвижно лежащего в переулке несколько секунд, прежде чем подняться и пойти дальше как ни в чём не бывало. Вот почему я выбрал именно вас, Роберт, а не кого-то другого в этом городе. Не только потому, что вы гордый и одинокий человек. А потому, что вы — единственный, кто может отдать себя этому дару полностью, без остатка, не оставляя позади ни одной живой нити, за которую этот мир мог бы вас удержать. Другие люди платили бы куда более страшную цену — цену тех, кто их любит. Вы платите куда меньшую цену, Роберт: цену того, что вас, в сущности, некому терять.

— А если я расскажу кому-нибудь? — спросил вдруг Роберт, будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову. — Если я попытаюсь предупредить кого-то, объяснить, что со мной случилось?

Летарг усмехнулся — тихо, без насмешки, скорее с той снисходительностью, с какой относятся к вопросу, заданному из чувства долга, а не из подлинного любопытства.

— Попробуйте, — сказал он. — Я не буду вам мешать, не наложу печать молчания на ваш язык, не сделаю ничего из того, что делают демоны в дешёвых историях. Расскажите хоть

всему городу. Проблема, Роберт, не в том, что вам запрещено говорить. Проблема в том, что вам никто не поверит, — а если и поверит, то не так, как вам бы хотелось. Люди привыкли слышать о сделках с дьяволом как о метафоре человеческой слабости, а не как о буквальном событии минувшей ночи. Вы можете кричать об этом с крыши — и в лучшем случае вас сочтут поэтически одарённым безумцем. В этом, если хотите, ещё одна форма вашего одиночества, которое я не создал, а всего лишь унаследовал вместе с вами.

Роберт помолчал, чувствуя, как этот ответ — спокойный, почти дружеский — ранит сильнее любой угрозы.

— Что именно я увижу там? — спросил он наконец. — Вы говорили о встречах с людьми прошлого. Но как это будет выглядеть? Я просто... появлюсь рядом с Наполеоном? Он будет говорить со мной как с равным?

— Вы будете появляться там, куда пожелаете, в облики, подходящем для эпохи, — сказал Летарг, и в его голосе появилась новая интонация — не торговца, расхваливающего товар, а рассказчика, открывающего перед слушателем целый мир, один слой за другим, как разворачивают драгоценную ткань. — Язык не будет преградой: вы будете понимать любую речь и быть понятым в ответ, будто владели этим языком с рождения, — так, как во сне человек порой говорит на языке, которого никогда не учил, и не удивляется этому, покуда не проснётся. Люди, которых вы встретите, будут воспринимать вас так, как сочтёт нужным логика того мира, — иногда как путешественника издалека, иногда как советника, иногда как незнакомца, чьё появление покажется им предопределённым, будто сама судьба сплела нить вашей встречи задолго до вашего рождения. Вы сможете говорить с ними, спорить, убеждать, вмешиваться в их решения, если пожелаете. Единственное, чего вы не сможете, — это по-настоящему изменить подлинную историю человечества, ту, что известна за пределами моего дара. Всё, что вы измените там, останется там же — в границах реальности, созданной для вас одного, как узор, вытканый на отдельном полотне, не касающемся большого гобелена мира.

— А если я захочу увидеть сразу нескольких людей? Прожить сразу несколько эпох?

— Вы проживёте их все, одну за другой, столько раз и в любом порядке, какой пожелаете, — ответил Летарг. — У вас будет вечность, Роберт. В буквальном смысле этого слова — вечность субъективного времени внутри одной человеческой жизни длиной в семьдесят или восемьдесят лет. Вы состаритесь здесь на десятилетия медленнее, чем проживёте там на тысячелетия. Представьте это так: одна человеческая жизнь — всего лишь одна страница книги. Я предлагаю вам не вырвать эту страницу и не переписать её заново, а вложить в неё целую библиотеку, каждый том которой будет прожит вами так же полно, так же подлинно, как проживается единственная отпущенная человеку жизнь.

— А смогу ли я менять решения этих людей? Не просто говорить с ними, а... влиять?

Летарг посмотрел на него долгим, оценивающим взглядом, будто впервые за весь разговор Роберт задал вопрос, который его по-настоящему заинтересовал.

— Сможете, — сказал он медленно, взвешивая каждое слово, как взвешивают драгоценный металл на весах, боясь ошибиться на одну пылинку. — И признаюсь вам, Роберт: это самая опасная и самая пьянящая часть моего дара. Вы сможете сказать полководцу перед решающей битвой то, чего никто до вас не осмеливался сказать. Сможете предложить царю иной путь, чем тот, что он избрал. Сможете спасти того, кто должен был умереть, или, если пожелаете, погубить того, кому суждено было выжить. В границах этой реальности вы станете почти равны творцу — не Творцу с большой буквы, конечно, куда мне до подобного кощунства, а творцу в самом скромном, ремесленном смысле слова: тому, кто способен переставить местами кирпичи уже построенного здания и посмотреть, что из этого выйдет.

— Это... пугает, — тихо сказал Роберт.

— Это должно завораживать, — мягко возразил Летарг. — Всякая подлинная сила пугает того, кто ещё не научился её нести, и завораживает того, кто готов её принять. Разница между

страхом и восторгом, Роберт, часто бывает не в самом даре, а лишь в готовности человека, которому он предложен.

— А моё тело, — тихо спросил Роберт, — оно правда ничего не почувствует все эти века? Не начнёт разлагаться, не замёрзнет насмерть, лёжа там, в переулке, зимой?

Что-то дрогнуло в лице Летарга — едва заметно, будто тень пробежала по идеально высеченным чертам, тень, которой, по всем законам света и тьмы, там неоткуда было взяться, тем более в зале, где, как теперь знал Роберт, самого источника тени попросту не существовало.

— Не почувствует, — сказал он, и голос его стал чуть ниже, будто он произносил не правило, а нечто вроде сожаления о самой природе вещей. — Пока ваша душа странствует в дарованной мной реальности, тело останется вне времени этого мира — не мёртвым и не живым, а как бы отложенным в сторону, подобно книге, которую читатель отложил на середине главы. Оно не почувствует холода. Не почувствует голода. Не почувствует одиночества — потому что одиночество, Роберт, чувствует лишь тот, кто ещё не покинул себя полностью, а вы в эти века будете не там, а здесь, со мной, в мирах, которые я вам открою. Это не жестокость с моей стороны — это просто природа самого дара: тело способно ждать ровно столько, сколько ему нужно, если тот, кому оно принадлежит, ушёл добровольно и полностью, а не наполовину, оставив ногу за порогом.

— А душа, — спросил Роберт негромко, — вы заберёте её сразу, в тот миг, когда я уйду туда навсегда? Или...

— Нет, — ответил Летарг с почти оскорблённой интонацией, будто сам вопрос показался ему

мелочным, недостойным серьёзности заключаемого договора. — Я не беру долг раньше срока. Душа станет моей лишь тогда, когда закончится ваше странствие, — когда вы сами, по собственной воле, решите, что прожили внутри дарованной вам реальности достаточно, и подойдёте к последней черте своего пути там. До той поры вы вольны бродить по эпохам сколько пожелаете, и никто, даже я, не властен прервать это раньше времени. Я терпелив, Роберт. Я умею ждать целую вечность — в конце концов, вечность — это ровно то, что я вам предлагаю, и было бы странно с моей стороны обходиться с ней небрежно.

— Скажите, — произнёс он после долгого молчания, — вы хоть раз жалели существо, которое подписывало подобный договор?

Летарг ответил не сразу. Он посмотрел куда-то в сторону, будто там, в темноте без источника света, можно было разглядеть лица тех, о ком спрашивал Роберт, — целую вереницу их, растянувшуюся на столетия.

— Жалость — не совсем то слово, которым я пользуюсь, — сказал он наконец. — Но если вам нужна честность, а я, кажется, обещал вам именно её: да, я видел, как некоторые из них плакали, получив то, о чём просили. Не потому, что дар оказался обманом, — я никогда не обманываю в букве соглашения, — а потому что человеческое сердце устроено так, что желает не только получить желаемое, но и продолжать желать его вечно, а вечное обладание, Роберт, убивает желание вернее любого отказа. Это не моя вина. Это цена, которую платит всякий, кто получает всё, чего хотел, при жизни, вместо того чтобы стремиться к этому за её пределами.

— Это похоже на предупреждение.

— Это похоже на честность, — снова повторил Летарг, — которая, впрочем, никогда не мешала человеку хотеть того, чего он хочет. Мудрость, Роберт, редко останавливает желание. Она лишь позволяет желать с открытыми глазами, а не с завязанными, — и в этом, если угодно, единственная услуга, какую я способен оказать тем, кто садится напротив меня за этот стол.

Он сделал паузу, и в этой паузе взгляд его — тот самый взгляд, полный неуместной здесь глубины, глубины, которая начиналась там, где положено заканчиваться зрачку, и не заканчивалась нигде, — на мгновение задержался на лице Роберта с почти нежным вниманием, каким смотрят на редкий цветок, который вот-вот распухнет после долгой, холодной зимы.

— Скажите мне, Роберт, — произнёс он тише, и в этой тишине слышалось не нетерпение, а нечто похожее на уважение к самому процессу выбора, — вы всё ещё колеблетесь?

Роберт молчал долго. В этой безупречной, ничем не нарушаемой тишине единственным доказательством того, что время вообще движется в этом зале, оставался его собственный пульс, гулко отдававшийся в ушах, — единственный метроном в пространстве, забывшем, что такое ритм.

— Я боюсь, — признался он наконец. — Не вас. Не... — он не договорил слово «ада», будто произнести его здесь означало бы придать ему слишком много реальности, слишком много власти над собственным языком. — Я боюсь, что пойму, зачем всё это, слишком поздно. Когда уже нельзя будет отступить.

— Это честный страх, — сказал Летарг без насмешки, и, кажется, впервые за весь разговор в голосе его прозвучало нечто похожее на подлинное сочувствие, а не его искусно сотканное подобие. — И я уважаю его больше, чем вы могли бы предположить. Мудрость, Роберт, — а я лью себе мыслью, что кое-что в ней понимаю, — состоит не в отсутствии страха, а в умении разглядеть за страхом то единственное желание, ради которого стоит его перетерпеть. Страх — это всего лишь тень, которую отбрасывает нечто важное, стоящее у вас за спиной. Тень пугает лишь того, кто не решается обернуться и увидеть, что именно её отбрасывает. Хотя, — добавил он с едва уловимой иронией, — в этом зале, как вы сами заметили, тени и вовсе не рождаются без причины. Возможно, это единственное место во вселенной, где ваш страх лишён самой возможности отбросить тень, — и, быть может, потому здесь легче взглянуть ему в лицо, чем где бы то ни было ещё.

Он выдержал паузу, будто позволяя этим словам осесть внутри Роберта подобно тому, как оседает пыль после долгого пути, — и продолжил, понизив голос почти до шёпота, отчего каждое слово звучало не громче, но весомее:

— Позвольте мне сказать вам единственную вещь, которая, возможно, не убедит вас, но, надеюсь, будет честной: я не могу обещать вам, что вы не пожалеете. Я могу обещать лишь одно — то, что вы получите ровно то, о чём просите, без обмана, без мелкого шрифта, без ловушек, скрытых между строк. Ваше сожаление, если оно придёт, будет вашим собственным сожалением о собственном выборе, а не моим предательством. Красота этого дара, Роберт, в том и заключается, что он честен до самого дна, — а честность, поверьте существу, прожившему дольше, чем существует само время в вашем понимании, куда более редкий и куда более опасный дар, нежели любая ложь.

— Последний вопрос, — сказал Роберт, и голос его дрогнул. — Почему именно душа? Почему вам нужна именно она, а не что-то другое — годы моей жизни, например, или моя память?

Летарг посмотрел на него так, будто вопрос этот наконец коснулся сути всего разговора, того самого зерна, вокруг которого всё остальное было лишь красивой шелухой.

— Потому что душа, Роберт, единственное, что принадлежит вам по-настоящему, — сказал он

тихо. — Годы жизни вам не принадлежат — они вам одолжены. Память несовершенна и меняется сама по себе, стирается, искажается, лжёт вам каждый день. Но душа — это то небольшое в вас, что было даровано вам однажды и безвозвратно, то, что делает вас вами, а не суммой обстоятельств вашего рождения. Взять что-либо другое было бы всё равно что взять напрокат мебель в доме, который вам не принадлежит. Мне нужна именно она, потому что только подлинный дар имеет подлинную цену, — а я, поверьте, не размениваюсь на сделки, лишённые подлинности.

Он замолчал, и в этом молчании Роберт вдруг ощутил не страх, а нечто вроде холодного, кристального спокойствия — того спокойствия, что приходит к человеку в последний

миг перед прыжком, когда решение уже принято где-то глубже сознания, и разуму остаётся лишь озвучить то, что тело и сердце решили давно.

Роберт вдохнул — и с удивлением понял, что воздух в этом зале не имел запаха. Ни сырости, ни пыли, ни намёка на дым или гарь. Пустота, обёрнутая в подобие воздуха, как безмолвие бывает иногда обёрнуто в подобие музыки — форма без содержания, оболочка, сохранившая очертания смысла, но не сам смысл.

— Как это происходит? — спросил он тихо. — Подписание. Что мне нужно сделать?

Летарг протянул руку, и в его раскрытой ладони — Роберт не заметил, откуда оно взялось, — лежало тонкое чёрное перо, старинное, с металлическим наконечником, поблёскивающим темнее, чем позволял этот безымянный, отовсюду и ниоткуда льющийся свет, будто перо само было маленьким колодцем, из которого чёрным по белому вот-вот прольётся не чернила, а нечто куда более весомое.

— Возьмите перо, — сказал Летарг, — и произнесите вслух то, чего вы хотите. Не мне — воздуху этого зала, самому себе, тому, что осталось от вашей веры в судьбу, которую вы никогда до конца не отрицали, сколько бы раз вы ни называли себя атеистом при свете дня. Когда вы произнесёте это искренне, лист примет ваши слова сам, без чернил, без подписи в привычном смысле. И тогда, Роберт, — только тогда, — договор будет заключён. Помните: искренность здесь не формальность. Ложь этому листу не солжётся — он примет лишь то, что рождено на самом дне вашего желания, а не то, что вы произнесёте из страха или бравады.

Роберт взял перо. Оно было холодным — куда холоднее, чем полагалось бы металлу в помещении без сквозняков, — и это ощущение холода в ладони было последней ясной мыслью, которую он запомнил перед тем, как заговорить. Ему подумалось мельком, что холод этот похож на холод причастной чаши, которую он видел однажды в детстве, стоя рядом с бабушкой у входа в церковь, куда сам никогда не заходил, — и мысль эта, странная и неуместная, промелькнула и исчезла прежде, чем он успел её удержать.

Он посмотрел на белый лист. Потом — на лицо Летарга, спокойное, безупречное, ожидающее с терпением, которое пугало сильнее любой спешки, — терпением горы, наблюдающей, как у её подножия вырастает и рушится очередная человеческая жизнь.

— Я, Роберт Извеков, — начал он, и голос его дрожал на первых словах, но постепенно набирал твёрдость, будто произнесение вслух само придавало ему решимости, как придаёт решимости первый шаг в холодную воду, после которого отступать уже кажется глупее, чем идти дальше, — по доброй воле, в здравом уме, отдаю то, что называется моей душой, в обмен на вечность внутри дарованной мне реальности. Я хочу увидеть своими глазами то, что человечество называет историей. Я хочу говорить с теми, кто её творил. Я хочу получить ответы, которых не смог получить за двадцать девять лет в этом мире.

Он замолчал, чувствуя, как воздух в зале будто сгустился вокруг него, обхватив плечи невидимой тяжестью — не давящей, а скорее похожей на объятие, слишком крепкое, чтобы быть добрым, и слишком нежное, чтобы быть враждебным.

— Договор, — тихо повторил Летарг, и в этом единственном слове было столько удовлетворения, сколько Роберт никогда прежде не слышал ни в одном человеческом голосе, — удовлетворения не хищника, настигшего добычу, а садовника, увидевшего наконец, как раскрывается бутон, который он терпеливо поливал много лет.

Белый лист на столе дрогнул — не от ветра, которого не было, а будто он сам вздохнул, — и на нём, без пера, без чернил, начали проступать буквы: сначала бледные, едва различимые, словно проступающие сквозь толщу воды, а затем всё темнее, всё отчётливее, будто выжигаемые изнутри самой бумаги, как выступают на морозном стекле узоры, которые никто не рисовал рукой. Роберт не мог прочитать текст целиком — строки складывались и расплывались перед глазами быстрее, чем он успевал их понять, будто текст этот был написан не для челове-

ческого чтения, а для чего-то более древнего внутри него, — но одну фразу он различил ясно, будто она была написана крупнее остальных, специально для него одного:

Настоящая история человечества, сотворённая волей Всевышнего, изменению не подлежит.

Он поднял взгляд на Летарга, желая спросить, что это значит, желая, быть может, в последний раз испугаться и отступить, — но не успел произнести ни слова.

Лист вспыхнул — не пламенем, а светом, белым, беззвучным, заполнившим на мгновение весь зал до самых теряющихся во тьме стен, светом, который не отбрасывал теней и не оставлял после

себя ни дыма, ни запаха гари, светом, у которого — Роберт успел подумать об этом даже в последний миг перед тем, как всё вокруг померкло, — тоже не было ни единого источника, будто он рождался сразу отовсюду и нигде одновременно, — и Роберт почувствовал, как что-то внутри него, глубоко, в самом основании существа, тихо и необратимо сдвинулось, как сдвигается замок, повернувшись ровно на один оборот. Это ощущение не было болью. Оно было ближе к тишине после долгого, надрывного крика — облегчением настолько полным, что оно граничило с утратой.

Свет погас так же внезапно, как вспыхнул.

Лист снова был чист.

— Готово, — сказал Летарг, и голос его теперь звучал мягче, почти ласково, как голос человека, довольного удачно завершённым делом, человека, который наконец увидел плоды многолетнего, терпеливого труда. — Добро пожаловать в вечность, Роберт. Отныне двери, которые казались вам закрытыми всю жизнь, будут открываться от одного вашего желания, — и я надеюсь, вы простите мне маленькую, но искреннюю радость от того, что именно я подал вам этот ключ.

Роберт стоял, всё ещё сжимая в руке холодное перо, чувствуя, как зал вокруг него начинает медленно, беззвучно растворяться в темноте — стены, безымянный свет, стол, — растворяться так, как растворяется в воде капля чернил: сначала едва заметно, затем всё быстрее, пока последняя граница между формой и пустотой не исчезнет вовсе. Последним, что он увидел прежде, чем темнота поглотила всё целиком, было лицо Летарга: спокойное, безупречное, освещённое чем-то, что уже нельзя было назвать простым удовлетворением, — светом, в котором смешались торжество, нежность и что-то похожее на древнюю, невыразимую усталость существа, для которого эта победа была далеко не первой и, вероятно, не станет последней.

А потом наступила тишина — та особая, глубокая тишина, что бывает лишь на самой грани между сном и пробуждением, тишина, в которой, кажется, можно услышать биение собственного сердца изнутри, а не снаружи, — и Роберт так и не понял, в какой именно момент этой ночи он перестал быть собой прежним и начал становиться кем-то иным.

Он не открыл глаза в своей квартире. Не увидел серого московского рассвета, не услышал будильника.

Вместо этого он ощутил — не увидел, а именно ощутил, всем существом сразу, — как где-то позади, всё дальше и дальше, остаётся тело: то самое тело, что всё ещё лежало на мокром асфальте того самого переулочка, где он упал три дня назад, — лежало неподвижно, укрытое мокрым снегом, невидимое для случайных прохожих, будто сам город на миг отвёл от этого места глаза. Оно не дышало в привычном смысле и не переставало дышать — оно просто ждало, отложенное в сторону, как ждёт своего часа вещь, убранная в дальний ящик до времени, о котором она сама не знает.

Роберт не почувствовал боли расставания с ним. Он почувствовал нечто более странное: лёгкость, почти неприличную в своей полноте, — лёгкость человека, который всю жизнь носил на плечах груз, о существовании которого не подозревал, покуда груз этот не сняли разом.

Он не знал ещё, что эта лёгкость — то самое одиночество, всю жизнь бывшее его проклятием, — обернулась в эту ночь единственным даром, который позволил ему уйти полностью, никого не предав и ничего не бросив, потому что бросать, в сущности, было нечего.

Он не знал ещё, что это чувство — трепет человека, впервые ощутившего собственную безграничность, — станет тем самым семенем, из которого позже вырастет вся его гордыня, семенем настолько маленьким и настолько похожим на обычное освобождение, что даже самый внимательный наблюдатель не отличил бы его от подлинной свободы.

Но в этот миг он знал лишь одно: пути назад больше нет, да он и не искал его.

Тьма вокруг него дрогнула, будто занавес перед первым актом долгого, растянутого на века представления, — и там, где мгновение назад была лишь пустота, начал заниматься иной свет: не безымянный свет мёртвого зала, а живой, тёплый, пахнувший дымом костров и морем, — свет какой-то другой, куда более древней эпохи, которую Роберт ещё не успел узнать, но в которую уже шагнул, не оборачиваясь.

Часть вторая. ВЕЛИЧИЕ

Глава 4. Наставник

Первым, что он почувствовал, был не вид и не звук, а запах — солёный, горький, с примесью дыма и чего-то похожего на смолу, — запах моря, стоящего у самого края земли, и костра, разведённого людьми, которые ещё не знали, что однажды их назовут древними.

Роберт открыл глаза — если то, что он сделал, вообще можно было назвать этим словом, — и увидел небо. Не московское, тяжёлое, свинцовое небо конца ноября, а другое: высокое, невероятно синее, с редкими, будто нарисованными наспех облаками, плывущими куда-то в сторону, которую он не смог бы назвать ни западом, ни востоком, потому что здесь, в этом свете, стороны света ещё не разучились быть просто направлениями, а не абстракциями с карты.

Он лежал на тёплом, шершавом камне, и когда сел, увидел перед собой бухту — небольшую, подковой охватывающую берег, с несколькими рыбацкими лодками, вытасненными на песок, и белыми домами, взбирающимися по склону холма в беспорядке, свойственном городам, которые выросли не по плану, а по нужде. Где-то выше, на вершине этого же холма, стояли колонны — стройные, мраморные, ещё не тронутые тем разрушением, которое Роберт привык видеть на фотографиях руин: целые, гордые, отбрасывающие на камни резкие, почти театральные тени.

Он был не один.

Рядом с ним, чуть поодаль, у самой кромки прибоя, стоял человек — невысокий, немолодой, в простом сером хитоне, перепоясанном грубой верёвкой, с седой бородой и лицом, избородённым морщинами настолько глубокими, что казалось, будто их прочертило не время, а что-то более целенаправленное, вроде долгой, сосредоточенной работы резчика по дереву. Он смотрел на море, заложив руки за спину, и, судя по всему, вовсе не удивился, обнаружив Роберта сидящим на камнях позади себя.

— Наконец-то, — сказал он, не оборачиваясь, голосом сухим и немного скрипучим, как голос человека, который слишком долго молчал, прежде чем заговорить снова. — Летарг предупреждал, что вы придёте с рассветом. Он редко ошибается во времени, хотя часто ошибается во всём остальном.

Роберт медленно поднялся на ноги, чувствуя странную, почти пугающую лёгкость в теле — будто оно было моложе, крепче, свободнее от тех мелких неполадок, которые он привык носить в себе тридцать лет: ноющее плечо, уставшие к вечеру глаза, тяжесть в груди после бессонной ночи. Здесь ничего этого не было. Здесь было тело, которое, казалось, впервые в жизни ничего не просило и ни на что не жаловалось.

— Кто вы? — спросил он, и вопрос этот, произнесённый уже во второй раз за эти странные дни — впервые Летаргу, теперь этому старику, — показался ему вдруг главным вопросом всей его новой жизни, тем, который придётся задавать снова и снова, в каждой эпохе, каждому новому лицу.

Старик обернулся. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели с той спокойной, не по-стариковски ясной внимательностью, какая бывает у людей, проживших достаточно долго, чтобы перестать удивляться человеческой глупости, но не настолько долго, чтобы перестать её жалеть.

— Меня можно называть Феодором, — сказал он. — Хотя имя это не многим старше того тела, в котором вы меня сейчас видите, а тело это далеко не первое, в каком мне доводилось встречать таких, как вы. Считайте меня своим наставником, Роберт Извеков. Я буду сопровождать вас в этом странствии — не всегда рядом, не в каждой комнате, куда вы войдёте, но достаточно близко, чтобы объяснить правила игры прежде, чем вы успеете в них запутаться.

— Летарг не говорил мне ни о каком наставнике.

— Летарг, — сказал Феодор с едва уловимой, почти неразличимой иронией, — не считает нужным упоминать всё, что могло бы показаться вам менее заманчивым, чем сама сделка. Это не ложь с его стороны, поймите меня правильно, — он не солгал вам ни в едином слове, я убеждён в этом. Просто есть разница между тем, что сказано, и тем, что сказано полностью. Он привёл вас к порогу и открыл дверь. Проводить вас по дому — моя работа.

Роберт посмотрел на него внимательнее, пытаясь понять, стоит ли доверять этому спокойному, немного насмешливому старику больше, чем безупречному человеку в чёрном пальто.

— Вы тоже... — начал он и не закончил вопрос, не зная, как его сформулировать, не оскорбив.

— Демон? — подсказал Феодор без всякой обиды. — Нет. И ангел я тоже не сказал бы, что я. Считайте меня служителем этого места — того самого дара, который вам преподнесли, — существом, приставленным к тем, кто внутрь него входит, чтобы странствие не превратилось для них в хаос, а хоть в какое-то подобие пути. У меня есть свои правила и свои границы, Роберт, и поверьте, они не менее строги, чем те, что связывают вас.

— А если я спрошу, кем вы были раньше? До того, как стали... этим?

Что-то мелькнуло в светлых глазах старика — быстро, почти незаметно, как рыба, на мгновение показавшаяся из воды и тут же ушедшая в глубину. Он ответил не сразу, и в этой паузе Роберту почудилось, что впервые за весь разговор Феодор подбирает слова не из готового, тысячу раз повторённого запаса, а роется в чём-то куда более личном.

— Это вопрос, на который я не отвечаю, — сказал он наконец, и голос его стал суше обычного, будто он захлопнул дверь, случайно оставленную приоткрытой. — Не потому, что мне запрещено, а потому, что некоторые двери лучше не открывать без крайней нужды — даже себе самому. Оставим это, Роберт. Сегодняшний день принадлежит вам, а не моей истории.

Он повернулся снова к морю, и Роберт, проследив за его взглядом, увидел вдалеке, у самого горизонта, силуэт корабля — низкого, длинного, с одним косым парусом, идущего, казалось, из ниоткуда в никуда.

— Где мы? — спросил Роберт, задавая вопрос, который в последние дни стал для него почти таким же привычным, как когда-то вопрос «который час».

— Это не имеет для вас значения в том смысле, в каком вы привыкли задавать этот вопрос, — сказал Феодор. — Здесь нет точки на карте, к которой можно было бы приложить название страны и год по вашему летоисчислению, потому что то, что вы видите, — не музейный экспонат и не иллюстрация к учебнику. Это подлинная, живая, дышащая реальность, созданная так достоверно, что сама земля под вашими ногами не отличит себя от той, что была бы здесь, если бы Летарг вовсе не вмешивался. Но раз уж вам нужны слова, чтобы за что-то зацепиться, — назовём это античностью. Морем, у которого стоят города философов и первых мореходов, дерзнувших поверить, что мир объясним разумом, а не только волей богов.

— Значит, я могу встретить здесь... — начал Роберт, и сердце его вдруг забилось быстрее той жадной, почти детской радостью, которую он не позволял себе испытывать много лет.

— Кого пожелаете, — кивнул Феодор. — Но прежде, чем вы броситесь искать первого философа или полководца, чьё имя вспомните, позвольте мне объяснить вам несколько вещей, без понимания которых ваше странствие обернётся куда быстрее, чем вы думаете, чем-то куда менее радостным, чем вы сейчас воображаете.

Он сделал приглашающий жест в сторону плоского камня, отполированного прибоем, и сам сел на соседний — с той неторопливой основательностью человека, привыкшего вести долгие разговоры, не заботясь о времени.

— Первое, — начал он, поднимая узловатый палец, — вы можете перемещаться отсюда в любую эпоху и в любое место, где когда-либо ступала нога человека, значимого для истории. Для этого вам не понадобится ни карта, ни компас — довольно будет вашего собствен-

ного, искреннего желания увидеть того или иного человека, ту или иную эпоху. Желание здесь равносильно движению. Стоит вам захотеть по-настоящему — и мир вокруг вас переменится, как меняются декорации в театре, где вы одновременно и зритель, и единственный актёр, для которого играют остальные.

— А если я не знаю точно, кого хочу увидеть?

— Тогда мир подскажет вам сам, — ответил Феодор, — исходя из того, что скрыто на самом дне вашего сердца, а не из того, что вы способны сформулировать вслух. Будьте осторожны с этим, Роберт: желания, которые мы не решаемся произнести, часто оказываются честнее тех, что мы произносим громко.

— Второе, — продолжал он, загибая следующий палец, — вы можете говорить с людьми этого мира, спорить с ними, убеждать их, менять их решения, если сумеете найти нужные слова. Здесь нет запрета на подобное вмешательство — в отличие от того мира, откуда вы пришли, здесь ваше слово имеет вес, способный сдвинуть решение царя или мысль философа. Но, — тут он посмотрел на Роберта долгим, тяжёлым взглядом, — каждое ваше вмешательство имеет последствия, которые расходятся по этому миру шире, чем вы способны предугадать заранее. Измените одно решение — и десяток других решений, зависевших от первого, изменятся вместе с ним. Спасите одного человека от смерти — и, быть может, лишите жизни возможности родиться того, кто должен был появиться на свет из горя, вызванного этой самой смертью. Мир этот живой, Роберт, а не нарисованный. Живое не терпит небрежного обращения.

Роберт слушал, чувствуя, как первоначальная радость понемногу уступает место осторожности — тому самому чувству, с каким входил в комнату, полную хрупких, дорогих вещей.

— И третье, — сказал Феодор, но на этот раз палец его не поднялся вместе со словом: он опустил руку на колено и замолчал на несколько долгих секунд, будто взвешивал, стоит ли вообще произносить то, что собирался сказать. — Вы не первый, Роберт, кто сидит на этом камне и слушает эти же самые слова.

Роберт замер.

— Что вы имеете в виду?

— То, что сказал, — ответил Феодор просто. — До вас здесь бывали другие. Не единицы — куда

больше, чем вы могли бы предположить, глядя на этот пустой берег и представляя себя единственным избранником во всей истории подобных сделок. Вы не первый, кому Летарг предложил вечность в обмен на душу, и, боюсь, далеко не последний.

— И что с ними стало? — тихо спросил Роберт, чувствуя, как в груди у него что-то похолодело — не от страха перед стариком, а от внезапного, унижительного осознания собственной незначительности, настигшего его именно в тот миг, когда он впервые за долгие годы почувствовал себя избранным.

Феодор посмотрел на него долгим взглядом, и в этом взгляде было что-то похожее на сожаление о том, что придётся отвечать честно.

— С некоторыми — то, чего вы, вероятно, ожидаете: они прожили свои века, получили свои ответы, и в срок были призваны заплатить оговорённую цену. Но были и другие, Роберт. Те, кто настолько увлёкся дарованной властью, что попросту... растворился. Не умер — растворение и смерть не одно и то же в этом мире. Их желания стали такими громкими, такими всепоглощающими, что от них самих, от той личности, что некогда сидела на этом самом камне и слушала меня так же, как слушаете вы сейчас, не осталось почти ничего узнаваемого. Я не встречал их много веков. Не знаю, существуют ли они ещё в каком-либо смысле этого слова, или же давно стали просто частью того ландшафта, который сами и разрушили бесчисленными вмешательствами.

Он замолчал, и тишина, повисшая между ними, была куда тяжелее, чем шум прибоя, доносившийся снизу.

— Я говорю вам это не для того, чтобы напугать, — продолжил Феодор мягче, — а для того, чтобы вы поняли: то, что вам предстоит, — не увлекательная экскурсия и не игра без последствий для вас самих. Есть предел, Роберт, за которым человек, получивший слишком много власти над чужими судьбами, перестаёт быть тем человеком, что переступил порог этого дара. Где именно проходит этот предел, я не могу сказать вам заранее — он у каждого свой, и узнаётся, как правило, слишком поздно, когда уже пройден.

Роберт молчал, глядя на волны, разбивающиеся о камни внизу с тем же равнодушным постоянством, с каким они разбивались о них, должно быть, задолго до его рождения и будут разбиваться ещё долго после.

— Есть ли что-то ещё, — спросил он наконец, — о чём мне следует знать заранее? Что-то, о чём вы... не вправе рассказывать прямо?

Феодор посмотрел на него — и на этот раз в его взгляде не было ни иронии, ни отеческого спокойствия, а нечто вроде настоящей, острой серьёзности, которую Роберт видел у него впервые.

— В этом мире есть двери, Роберт, которые я не открою вам сам, — сказал он тихо. — Не потому, что скрываю их существование, а потому, что объяснить заранее, что находится за ними, значило бы лишить вас единственного, что ещё принадлежит здесь только вам, — права дойти до них самостоятельно, своим собственным путём, и решить для себя, войти или отступить. Я мог бы начертить вам карту всего вашего странствия наперёд. Но карта, вычерченная чужой рукой, перестаёт быть путешествием и становится всего лишь маршрутом, по которому ведут, а не идут сами. Я не сделаю с вами этого. Не потому, что мне запрещено, а потому, что не считаю нужным.

Он произнёс это тихо, почти буднично, но что-то в его голосе — едва уловимая тяжесть, будто он взвешивал каждое слово на весах куда более точных, чем те, какими пользовался Летарг, — заставило Роберта вздрогнуть, хотя он ещё не понимал, о чём именно идёт речь и есть ли вообще что-то, о чём стоило бы тревожиться так рано.

— Хорошо, — сказал он, хотя это далеко не было хорошо, а было лишь единственным словом, которое нашлось у него в ответ на эту странную, тревожную серьёзность. — С кого мне начать?

Феодор поднялся с камня, отряхнул хитон и на мгновение замер, глядя не на Роберта, а куда-то мимо него, в сторону города на холме, — и в этом взгляде Роберту почудилось что-то, чего он не смог бы объяснить: не то тревога, не то узнавание, будто старик увидел там нечто, невидимое самому Роберту.

— С человека, который задавал вопросы даже под страхом смерти, — сказал он наконец, указывая рукой в сторону города, туда, где меж белых домов уже поднимался утренний дым очагов и слышались первые голоса просыпающегося рынка. — Идёмте, Роберт. Афины ждут вас.

Они спустились с камней и пошли по узкой тропе, поднимающейся от берега к городу, и Роберт, шагая следом за стариком, вдруг заметил то, чему не сразу нашёл объяснение: полуденное солнце светило им почти в спину, и от Феодора, идущего впереди, должна была падать длинная, отчётливая тень на пыльную дорогу. Тени не было. Ни малейшей, ни на мгновение, — только пыль, потревоженная его босыми ногами, и ничего больше там, где ей полагалось быть.

Роберт замедлил шаг, чувствуя, как по спине пробежал холодок, никак не вязавшийся с тёплым, ласковым утром вокруг них, и посмотрел под собственные ноги. Его собственная тень лежала на дороге ровно там, где ей и следовало быть, — длинная, чёткая, вытянутая закатным светом.

Он ничего не сказал. Но с этого мгновения он смотрел на своего наставника уже немного иначе — не с прежним, простодушным доверием случайно встреченного проводника, а с той настороженной, пытливой внимательностью, с какой смотрят на человека, о котором знают куда меньше, чем следовало бы знать, доверяя ему всю дальнейшую дорогу.

Он не знал ещё, что этот трепет, с которым он поднимался по каменистой тропе навстречу первой из бесчисленных встреч своей новой вечности, был последним трепетом чистого, ничем не омрачённого восхищения, какой он испытает за всё своё долгое странствие. И не знал, что вопрос о тени, который он так и не задал вслух, останется висеть между ним и Феодором ещё очень, очень долго — до тех самых пор, пока не перестанет быть просто любопытством и не превратится в нечто куда более важное для исхода всей его истории.

Глава 5. Сократ

Афинская тюрьма оказалась не тем сумрачным, пропахшим сыростью подземельем, какое рисовало воображение Роберта, начитавшегося в своё время скупых школьных пересказов. Это было невысокое каменное строение при самом здании суда, с единственным зарешеченным окном, сквозь которое падал широкий столб дневного света, ложась на пол жёлтым, почти тёплым пятном, — и в этом свете, скрестив ноги, сидел старик.

Феодор остался снаружи, у входа, лишь коротко произнеся: «Дальше вам лучше идти одному. Иногда присутствие лишних свидетелей мешает человеку говорить откровенно, особенно если этот человек — Сократ». Роберт вошёл один, чувствуя, как сердце его колотится совсем не так, как колотилось от страха, а как колотится оно от сдерживаемого, почти мальчишеского восторга.

Он расправил плечи, прежде чем переступить порог, — жест, которого сам за собой не заметил, но который сделал бы заметным для стороннего наблюдателя всю ту тайную, ещё не осознанную гордость, что жила в нём в это первое утро его странствия: гордость человека, уверенного, что сейчас, в этой самой камере, начнётся не просто разговор, а нечто вроде коронации, — что величайший мудрец древности встретит его, Роберта Извекова, как равного, как избранного, как единственного из миллиардов, кому выпала честь войти в эту дверь. Он не сказал бы этого вслух даже себе самому. Но именно с этой прямой спиной, с этим неосознанным разворотом плеч он и вошёл — так, как заходят не гости, а судьи.

Старик был некрасив — той откровенной, почти комической некрасивостью, которую сам он, судя по всему, давным-давно перестал замечать: приплюснутый нос, выпуклые глаза навывкате, лысина, обрамлённая редкими, спутанными волосами. На нём был простой, изрядно поношенный гиматий, а рядом, у стены, лежали лёгкие кандалы, снятые, видимо, по случаю последнего дня и оставленные тюремщиком скорее из формальности, чем из необходимости.

— У меня посетитель, — сказал старик, не оборачиваясь, тем же ровным, слегка насмешливым тоном, каким, должно быть, встречал каждого, кто входил в эту комнату последние недели. — Странно. Обычно ко мне приходят ученики, чтобы уговаривать меня жить. Ты, судя по одежде, не из Афин и, кажется, не из тех, кто станет тратить время на уговоры.

— Меня зовут Роберт, — сказал он, и голос его дрогнул от волнения, которое он не сумел скрыть. — Я... путешественник. Издалека.

— Издалека, — повторил Сократ, наконец повернувшись к нему, и в глазах его — маленьких, живых, неожиданно пронизательных на этом некрасивом лице — блеснуло что-то похожее на искренний интерес, не омрачённый и тенью страха перед завтрашним днём. — Что ж, садись, путешественник издалека. У меня, по счастью, есть немного времени, а разговор с незнакомцем в последний вечер жизни — не худший способ его провести. Только предупреждаю сразу: я не отвечаю на вопросы, которые задают, чтобы услышать подтверждение уже готового мнения. Я отвечаю только тем, кто действительно хочет знать.

Роберт сел на пол напротив него, скрестив ноги так же, как сидел старик, и некоторое время молчал, не зная, с чего начать разговор с человеком, чьё имя он произносил мысленно с трепетом ещё в школе, разбирая скучные, тезисно изложенные отрывки его учения в конце учебника.

— Почему вы не бежите? — спросил он наконец, задавая тот самый вопрос, ради которого, как он теперь понимал, и явился сюда с самого начала. — У вас есть ученики, у вас есть друзья со связями и деньгами. Критон, кажется, уже всё устроил — я слышал об этом. Стража подкуплена, корабль ждёт. Вам достаточно сказать одно слово, и вы окажетесь на свободе ещё до заката.

Сократ посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, будто оценивал не столько сам вопрос, сколько того, кто его задал.

— А ты полагаешь, что я не думал об этом? — спросил он мягко, без тени насмешки. — Скажи мне, путешественник: если человек всю жизнь учил сограждан, что справедливость важнее удобства, а закон, даже несовершенный, важнее личной выгоды, — что станет с этим учением, если в последний час своей жизни он предаст его ради спасения собственной шкуры?

— Но закон вас осудил несправедливо, — возразил Роберт с горячностью, удивившей его самого. — Обвинения против вас — введение новых богов, растление молодёжи — это же чужь, вы сами это знаете. Разве справедливость не требует сопротивляться несправедливому приговору?

— Требуется ли? — Сократ чуть склонил голову, и в этом жесте было что-то от терпеливого учителя, ожидающего, пока ученик сам обнаружит трещину в собственном рассуждении. — Скажи мне, путешественник, вот что: законы Афин вырастили меня, дали мне образование, защищали меня всю жизнь, позволили мне жениться, растить детей, свободно рассуждать на агоре семьдесят лет, ни разу не будучи изгнанным, — хотя, видят боги, многие горожане имели для этого все основания задолго до нынешнего суда. Я заключил с этим городом договор длиной в целую жизнь, просто продолжая в нём жить, не уезжая, принимая его защиту и его блага. Разве честно теперь, когда договор этот однажды обернулся против меня, разорвать его в одностороннем порядке, только потому, что мне лично это невыгодно?

— Но ведь это несправедливо! — повторил Роберт, чувствуя, как в груди у него закипает что-то похожее на гнев человека, который весь свой энтузиазм принёс в подарок, а его вежливо, но твёрдо отвергают. — Вас казнят за то, чего вы не совершали! Разве не вправе человек защищаться от произвола любой ценой?

— Не любой, — сказал Сократ тихо, и в этом тихом ответе прозвучала такая непоколебимая твёрдость, что Роберт невольно замолчал. — Есть цена, которую честный человек не заплатит,

даже спасая собственную жизнь, — потому что жизнь, купленная такой ценой, перестаёт быть той жизнью, ради которой стоило её спасать. Ты предлагаешь мне бежать, путешественник, тайно, под покровом ночи, подкупив стражу, как вор, крадущийся из дома, который сам обворовал. Ты предлагаешь мне доказать всем моим согражданам, что философ, всю жизнь учивший их не бояться смерти больше, чем бесчестия, сам в решающий час испугался смерти больше, чем бесчестия. Какой урок я оставлю тогда своим ученикам? Что справедливость — это красивые слова для благополучных времён, а в час испытания годится и ложь, и подкуп, и бегство?

Роберт молчал, чувствуя, как первоначальная уверенность в собственной правоте медленно, но необратимо трескается, подобно льду под слишком горячим солнцем.

— Хорошо, — сказал он, не желая сдаваться так быстро. — Допустим, я соглашусь с вами насчёт закона и договора с городом. Но разве сам закон не может быть несправедливым по своей сути? Что, если завтра афиняне примут закон, обязывающий убивать всех рыжих младенцев? Вы и его станете соблюдать лишь потому, что «заключили договор», продолжая жить в городе?

Глаза Сократа блеснули — не гневом, а тем особенным удовольствием, какое испытывает рыбак, почувствовавший наконец настоящую поклёвку после долгого, скучного ожидания.

— Вот это, путешественник, уже вопрос, достойный настоящего спора, а не просто сочувствия старику, — сказал он, слегка подавшись вперёд. — Скажи мне для начала: откуда, по-твоему, человек узнаёт, что закон о рыжих младенцах несправедлив? Разве не из некоего знания о справедливости, которое существует прежде и выше любого писаного закона, — того самого знания, которое сам закон способен либо воплощать, либо предавать?

— Наверное, — осторожно согласился Роберт, чувствуя, что его уже втягивают в ловушку, которую он пока не в силах разглядеть целиком.

— Тогда вопрос не в том, подчиняться ли закону вообще, — продолжал Сократ, — а в том, какому пути сопротивления доверять, когда закон это высшее знание предаёт. Один путь — тот, что предлагаешь ты: тайно, силой или хитростью, отвергнуть решение города и спастись самому, ничего не меняя в самом городе, оставляя рядом с собой всё то же несправедливое устройство, только теперь ещё и опозоренное собственным бегством философа, который учил его не бояться смерти. Другой путь — тот, что выбираю я: остаться, принять несправедливый приговор открыто, у всех на глазах, и тем самым показать городу зеркало, в котором он однажды, быть может не сразу, разглядит собственное уродство яснее, чем разглядел бы, если бы я тайно бежал под покровом ночи, точно вор. Какой из этих путей, по-твоему, скорее исправит закон о рыжих младенцах, если бы такой существовал, — бегство одного мудреца или его добровольная, у всех на виду принятая смерть за отказ отступить от истины?

Роберт открыл было рот для ответа и тут же его закрыл, не найдя, что возразить.

— Но ведь вы можете ошибаться, — сказал он наконец, меняя направление атаки. — Вы говорите о высшем знании справедливости, но откуда вам знать, что ваше собственное понимание этого знания верно? Может быть, ваши судьи по-своему правы, а вы заблуждаетесь?

— Прекрасный вопрос, — сказал Сократ с искренним удовлетворением, — и, пожалуй, единственно честный ответ на него звучит так: я не знаю этого наверняка. Я вообще, если хочешь знать главную тайну всей моей философии, не знаю почти ничего наверняка — и в этом, как ни странно это прозвучит для чужеземца, вся моя претензия на мудрость. Однажды жрица в Дельфах сказала моему другу Херефонту, что нет в Афинах человека мудрее меня. Я долго ходил по городу, разыскивая тех, кто мудрее, — политиков, поэтов, ремесленников, — расспрашивал их о том, в чём каждый из них считал себя знатоком, и обнаружил удивительную вещь: все они были уверены, что знают многое, тогда как на самом деле не знали почти ничего, а я, по крайней мере, знал одно — что не знаю. Возможно, именно в этом единственном знании — знании о собственном незнании — и заключалась правота оракула.

— Значит, вы можете идти на смерть, даже не будучи уверены, что правы? — спросил Роберт, и в вопросе этом прозвучало нечто похожее на подлинное недоумение, а не риторический приём.

— Именно так, — кивнул Сократ. — Потому что уверенность в собственной правоте — вовсе не то же самое, что верность собственной совести. Я не уверен, существуют ли боги в точности так, как о них рассказывают поэты. Не уверен, что ждёт душу после смерти. Но я твёрдо знаю одно, единственное: за всю свою долгую жизнь я ни разу сознательно не совершил несправедливости, и не собираюсь начинать сегодня, в свой последний вечер, только ради того, чтобы прожить ещё несколько лишних лет. Если это неверный выбор — что ж, тогда пусть боги, если они существуют, судят меня за ошибку, а не за трусость. Я предпочитаю ошибаться честно, чем спастись бесчестно.

Он вдруг замолчал, склонил голову набок и посмотрел на Роберта с тем особенным, почти лукавым прищуром, каким, должно быть, смотрел на очередную свою жертву на афинской агоре, прежде чем задать вопрос, из которого несчастному было уже не выбраться с прежней уверенностью в себе.

— А знаешь, путешественник, — сказал он, — мне вдруг подумалось: я всё это время говорю о себе, а ведь искусство, которым я владею лучше прочих, — не рассказывать о своих убеждениях, а

помогать собеседнику разродиться его собственными, как повитуха помогает роженице, сама не производя на свет ничего своего. Позволь и мне задать тебе вопрос вместо ответа. Скажи: та жизнь, что ты оставил ради этого странствия, — была ли она счастливой?

Роберт замаялся.

— Не особенно, — признался он наконец. — Одинокой. Незаметной. Я работал, возвращался домой, засыпал, просыпался — и так изо дня в день, много лет подряд.

— А скажи мне тогда, — продолжал Сократ, — считаешь ли ты, что человек, проживший такую жизнь, прожил её плохо, недостойно, ошибочно?

— Наверное, да, — сказал Роберт. — Иначе зачем бы я согласился на договор?

— Хорошо. Тогда ответь мне вот на что: желал ли ты сам, находясь внутри той жизни, изо дня в день, чтобы она была именно такой, одинокой и незаметной? Или, быть может, ты желал вовсе иного — тепла, значимости, любви, — а получал одиночество лишь потому, что не знал, как получить желаемое, а вовсе не потому, что сознательно выбирал одиночество, предпочитая его всему остальному?

— Разумеется, я не выбирал его, — сказал Роберт с некоторым раздражением. — Просто так сложилось.

— Вот! — Сократ поднял палец с той же торжествующей радостью, с какой, наверное, поднимал его тысячу раз прежде, подводя очередного собеседника к неожиданному для того самого выводу. — Вот в этом, путешественник, и заключена одна из немногих истин, в которых я уверен твёрже, чем в существовании собственной тени: ни один человек не творит зла и не выбирает себе несчастье сознательно, зная наверняка, что творит зло или выбирает несчастье. Всякий дурной поступок, всякая дурная жизнь совершается по неведению — человек попросту принимает за благо то, что благом не является, потому что не научился отличать один от другого. Будь его знание истинным, он выбрал бы истинное благо всегда, без исключения, ибо кто, зная наверняка дорогу к собственному счастью, сознательно свернёт на дорогу к собственной гибели? Значит, добродетель, путешественник, есть форма знания, а порок — есть форма невежества, как бы ни было тяжело признать это тем, кто предпочитает считать злодеев злодеями по природе, а не по недостатку понимания.

— Но это... опасная мысль, — медленно сказал Роберт, чувствуя, как внутри у него что-то тревожно шевельнулось, будто сказанное сейчас касалось не только его прошлого одиночества, но и чего-то, что ещё только предстояло. — Если всякое зло совершается по незнанию, тогда любой человек, творящий беды, может оправдаться тем, что просто не знал, что творит.

— Оправдание и объяснение, путешественник, — вещи разные, — строго заметил Сократ. — Я не говорю, что незнание снимает с человека ответственность за содеянное, — вода, вскипевшая по недосмотру нерадивого повара, обваривает руку ничуть не слабее, чем вода, выплеснутая злоумышленно. Я говорю лишь, что источник большинства бед человеческих — не спрятанная где-то в глубине души сознательная тяга ко злу, а самое обыкновенное, куда более распространённое и куда более коварное невежество: уверенность, что мы знаем, что творим благо, тогда как на самом деле лишь воображаем это знание, не проверив его как следует. Самый опасный человек на свете, путешественник, — вовсе не тот, кто творит зло, зная, что творит зло. Такой человек редок и, как правило, довольно быстро останавливается сам, мучимый совестью. Самый опасный — тот, кто творит зло, будучи твёрдо, искренне уверенным, что творит благо, и оттого не останавливается вовсе, покуда не разрушит всё, до чего сумеет дотянуться, продолжая при этом считать себя благодетелем.

Роберт долго молчал, чувствуя, как эти слова, произнесённые сейчас как будто бы совсем не о нём, отзываются в нём куда более тревожным эхом, чем всё, сказанное прежде. Ему подумалось — мимолётно, неоформленно, — что где-то там, впереди, за пределами этого тихого вечера в афинской тюрьме, его самого, быть может, ждёт именно эта ловушка: не сознательное злодейство, а искренняя, ничем не поколебимая уверенность в собственной правоте, за которой незаметно, шаг за шагом, скрывается разрушение того самого, ради чего он отправился в путь.

— Как же тогда отличить истинное благо от воображаемого? — спросил он наконец, тише прежнего.

— Вопрошая, — просто ответил Сократ. — Постоянно, неотступно, не позволяя себе останавливаться на первом убедительном ответе, каким бы приятным он ни казался. Именно поэтому я всю жизнь досаждал согражданам вопросами, а не поучал их готовыми истинами, — потому что истина, принятая на веру, ничем не защищена от подмены, тогда как истина, добытая собственным неустанным вопрошанием, срастается с душой человека настолько, что её уже не вырвать никакой лестью, никакой властью, никаким соблазном. Помни это, путешественник, если запомнишь из сегодняшнего вечера хоть что-нибудь: бойся не тех решений, в неправильности которых сомневаешься. Бойся тех, в правильности которых ты абсолютно, безмятежно уверен, — ибо чаще всего именно за такой уверенностью прячется самое опасное из человеческих заблуждений.

— Скажи мне, путешественник, — произнёс Сократ медленно, и в голосе его впервые за весь

вечер прозвучала настоящая, неподдельная настороженность, — ты слышал когда-нибудь о моём даймонии?

Роберт покачал головой.

— С юности, — сказал Сократ, — во мне живёт некий внутренний голос — не совесть в привычном смысле, не совет разума, а нечто вроде особого, личного знака, который является мне всякий раз, когда я собираюсь совершить нечто дурное. Заметь: он никогда не говорит мне, что делать. Он лишь останавливает меня, когда я готов сделать неверный шаг. За всю мою жизнь он ни разу не ошибся. Даже сегодня, перед лицом смерти, на протяжении всего суда и всех этих недель заключения, он молчал — а значит, я на верном пути, каким бы горьким он ни казался со стороны.

— И что же? — спросил Роберт, чувствуя, как по спине у него пробежал холодок, никак не связанный с прохладой каменных стен.

— А то, путешественник, — сказал Сократ тихо, — что впервые за много лет он заговорил не о моём собственном поступке, а о тебе. Не резко, не как знак опасности, — но с той стороны, где ты сидишь, тянет чем-то, чему я не берусь подобрать слова ни на одном известном мне языке, а я, поверь, за долгую жизнь неплохо изучил возможности греческой речи. Не злом — я не чувствую в тебе злого умысла, ты пришёл сюда с искренним, пусть и заблудшим сердцем. И не могу сказать тебе, что именно это, откуда оно и как называется, — даймоний никогда не даёт мне знания, только смутное, тревожное ощущение, вроде запаха дыма в доме, где не видно ещё ни одного языка пламени. Но чем-то... взятым не по праву, я почти уверен. Так пахнет вещь, украденная из чужого дома, даже если вор искренне убеждён, что нашёл её на дороге. Скажи мне честно, если можешь, хотя я и не прошу объяснять мне то, чего я всё равно не пойму до конца: тебе не принадлежит по-настоящему то время, которым ты сейчас располагаешь, верно?

Роберт похолодел. Он не сказал старику ни слова ни о Летарге, ни о договоре, ни о цене, которую заплатил за эту самую возможность сидеть здесь, в афинской тюрьме, разговаривая с одним из величайших умов человечества.

— Откуда вы... — начал он и осёкся, не зная, как закончить вопрос, который уже начинал звучать пугающе знакомо — тем же самым вопросом, что он задавал Летаргу три вечера назад в московском переулке.

— Ниоткуда, — просто ответил Сократ. — Я же сказал тебе: я знаю очень мало. Но то небольшое, что мне подсказывает мой даймоний, я привык уважать больше, чем собственные умозаключения. Не отвечай мне, если не хочешь. Это не моё дело — цена, которую ты заплатил за эту встречу. Но позволь дать тебе один совет напоследок, раз уж мне, кажется, не суждено сказать тебе всей правды о том, что я чувствую.

— Прошу вас, — тихо сказал Роберт.

— Время, взятое не по праву, путешественник, — сказал Сократ, глядя ему прямо в глаза с той пронзительной, не по-стариковски ясной серьёзностью, — редко служит во благо тому, кто его взял, каким бы благим ни казалось намерение. Не потому, что оно проклято, — я не верю в проклятия в том грубом смысле, в каком о них говорят суеверные люди. А потому, что человек, получивший даром то, что другим достаётся ценой целой жизни, слишком легко начинает полагать, будто он выше законов, управляющих этой самой жизнью, — так же, как ты сегодня полагал, будто вправе указывать мне, честному старику, доживающему последний вечер по собственному, трезво обдуманному решению, как мне следует распорядиться этим решением. Береги в себе то небольшое смирение, с которым ты вошёл в эту камеру сегодня, задавая вопросы, а не готовые ответы. Мне кажется, чем дальше ты будешь странствовать, тем труднее тебе будет его сохранить.

Роберт долго молчал, чувствуя, как эти слова оседают в нём — не как удар, а как медленно проникающий холод, куда более тревожный, чем любая прямая угроза.

— Благодарю вас, — сказал он наконец. — За откровенность. Хотя, признаться, я надеялся услышать от вас нечто более... утешительное.

— Утешение, путешественник, — сказал Сократ, и на некрасивом лице его вновь мелькнула та самая, почти детская улыбка, — переоцененный дар. Оно убаюкивает боль, не устраняя её причины. Я предпочитаю оставлять своим собеседникам не утешение, а вопрос, над которым стоит думать долго после того, как сам собеседник давно забыт. Вот тебе мой вопрос на дорожку: если бы тебе предложили заново прожить всю твою прежнюю, обыкновенную жизнь, зная всё, что ты знаешь теперь, — согласился бы ты на неё вновь, без всякого договора и без всякой вечности? И если нет — то уверен ли ты, что дело было в самой жизни, а не в том, что ты попросту не научился её исследовать, прежде чем сбежать от неё в чужие эпохи?

Роберт поднялся с пола, чувствуя, как этот вопрос вонзается в него глубже, чем любой из прежних, — потому что на него, в отличие от всех остальных, у него не было готового ответа. Но что-то в нём — то самое упрямство, что заставляло его три дня подряд убеждать себя, будто встречи с Летаргом не было, — не желало сдаваться так быстро.

— А что, если вы просто нужны Афинам живым больше, чем мёртвым? — спросил он, заходя с другой стороны. — Вы могли бы ещё десятилетиями учить, спорить, воспитывать новых Платонов. Разве не эгоистично со стороны судьбы обрывать эту работу сейчас, ради одного вечера

принципиальности?

Сократ издал короткий, сухой смешок, будто вопрос этот развеселил его больше, чем все предыдущие.

— Ты рассуждаешь, путешественник, как человек, уверенный, что смерть есть безусловное зло, а жизнь — безусловное благо, — сказал он. — Но давай рассмотрим это по-настоящему, а не на веру. Что есть смерть, если вдуматься как следует? Возможностей ровно две, не больше. Либо это полное небытие, глубокий сон без единого сновидения, — а скажи мне, много ли ночей в своей жизни ты бы отдал не задумываясь за подобный сон, свободный от всякой тревоги? Даже цари, говорят, редко могли бы назвать столько ночей своей жизни счастливее одной такой ночи без сновидений. Либо же смерть — это переход, странствие души в иное место, где, по преданиям, обитают все, кто жил прежде. И если это так, путешественник, скажи мне — какая награда может сравниться с возможностью, которую я тогда получу: без страха суда, без опасений за свою жизнь, наконец расспросить обо всём Гомера, Гесиода, героев Троянской войны, всех великих людей, ушедших прежде меня? Я, проводивший всю жизнь в поисках истинного знания среди живых, наконец обрету досуг искать его среди мёртвых, где, полагаю, отыщу собеседников не менее упрямых, чем я сам.

— Это звучит красиво, — признал Роберт, — но откуда вам знать, что всё будет именно так? Вы сами говорили, что не уверены в существовании богов и загробной жизни.

— В том и дело, что не знаю, — согласился Сократ невозмутимо. — Но заметь, путешественник: в обоих возможных случаях смерть не является злом. Если это сон без сновидений — мне попросту нечего бояться, ибо небытие не может причинить боль тому, кого больше нет, чтобы её ощутить. Если это переход к новому знанию — мне тем более нечего бояться, ибо это благо, а не наказание. Бояться разумно лишь то, что определённо является злом. Я же не нашёл в своих долгих размышлениях ни единого разумного довода в пользу того, что смерть — зло, а нашёл лишь привычный, никем не исследованный страх, который люди принимают за мудрость только потому, что он общий для всех. Вот что значит, путешественник, истинная философия: не нагромождение красивых слов, а привычка ничего не принимать на веру, даже то, что все вокруг считают самоочевидным.

Роберт замолчал, чувствуя, как внутри у него нарастает что-то похожее на отчаяние человека, который принёс подарок, а вместо благодарности получил урок скромности, куда более тяжёлый, чем он рассчитывал вынести за один вечер.

— Хорошо, — сказал он, меняя тактику в последний раз. — Тогда позвольте предложить вам не спасение, а нечто другое. Я мог бы рассказать вам многое из того, что случится после вашей смерти. Как ваши ученики, Платон и другие, разнесут ваше учение по всему миру. Как через тысячи лет философы всех стран будут спорить о смысле ваших слов. Разве не хотели бы вы узнать это заранее — какое наследие вы на самом деле оставляете, прежде чем выпить яд с сомнением в душе?

Он сам не заметил, как в голосе его прозвучали интонации, до странности похожие на те, какими говорил Летарг три вечера назад в московском переулке, — спокойные, соблазнительные, предлагающие ответ вместо необходимости жить дальше в неведении, — и, произнося эти слова, Роберт вдруг похолодел, узнав в собственном голосе чужую, слишком знакомую музыку.

Сократ посмотрел на него долгим, внимательным взглядом — и на этот раз в этом взгляде не было ни насмешки, ни благосклонности, а нечто вроде острой, почти хирургической ясности, с какой смотрят на человека, разоблачённого в момент, когда он сам того не ожидал.

— А вот теперь, путешественник, — сказал он медленно, — ты предложил мне ровно то же самое искушение, каким, полагаю, соблазнили в своё время тебя самого. Знание без труда его добывания. Ответ без вопроса, выстраданного собственной жизнью. Скажи мне: неужели ты думаешь, что я, всю жизнь учивший сограждан, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой, соглашусь принять знание, добытое не мной, — украденное у будущего, точно яблоко из чужого сада, прежде чем оно созрело? Что бы это дало мне, кроме той же гордыни, в которой я всю жизнь уличал самодовольных политиков и поэтов? Уходи с этим предложением, путешественник, и никогда больше не делай его никому из тех, кого встретишь на своём пути. Оно куда опаснее, чем кажется тебе самому, — я вижу это по тому, как дрогнул твой голос, когда ты его произносил, будто сам испугался собственных слов.

Роберт стоял, не смея поднять взгляд, чувствуя, как стыд обжигает его сильнее, чем любой из прежних доводов старика, — потому что впервые за весь разговор он узнал не мудрость Сократа, а собственное, ещё не осознанное сходство с тем, от кого получил свой страшный дар.

— Простите, — сказал он тихо. — Кажется, я пришёл, чтобы спасти вас, а на самом деле хотел лишь доказать самому себе, что способен изменить исход вашей истории.

— Вот это, — сказал Сократ, — куда более честный ответ, чем всё, что ты говорил до этого. Знаешь, путешественник, за долгую жизнь я понял одну простую вещь: мудрость начинается не с ответов, а с признания того, как мало мы на самом деле знаем о собственных побуждениях.

Он помолчал, глядя на жёлтый столб света, медленно перемещающийся по каменному полу камеры.

— А ты, путешественник, — спросил он вдруг, — знаешь ли ты, зачем на самом деле пришёл сюда? Не для того, чтобы спасти меня, — ты сам это уже понял. Так для чего же?

Роберт долго молчал, чувствуя на себе этот пытливый, ничуть не осуждающий взгляд, под которым, казалось, невозможно было солгать, — точно так же, как невозможно было солгать, надо думать, целым поколениям афинян, испытавшим на себе силу этого простого, но неумолимого вопроса.

— Я думаю, — сказал он наконец, — я хотел, чтобы хоть один великий человек в истории выбрал жизнь, которую предложил бы ему я. Чтобы доказать, что я что-то значу.

— Вот теперь, — тихо сказал Сократ, и в голосе его прозвучало неожиданное тепло, — ты сказал нечто, ради чего действительно стоило прийти сюда сегодня. Помни это признание, путешественник, куда бы ни завела тебя твоя дорога. Человек, ищущий доказательств собственного величия в чужих судьбах, редко находит то, что ищет, — он находит лишь новые и новые чужие судьбы, требующие всё новых доказательств, покуда не потеряет из виду собственную.

Роберт поднялся с пола окончательно, чувствуя, как эти слова оседают в нём тяжело, но не безнадежно — так оседает в почве дождь после долгой засухи, не сразу давая всходы, но безвозвратно меняя саму землю.

— Благодарю вас, — сказал он тихо. — За разговор. И... простите, что пытался.

— Не извиняйся за попытку помочь, даже неудачную, — сказал Сократ, снова становясь у окна, туда, где жёлтый свет уже начинал темнеть, предвещая вечер. — Извиняйся лишь за то, что забыл спросить себя, зачем помогаешь, прежде чем предлагать помощь. Иди, путешественник. И если когда-нибудь встретишь ещё одного упрямого старика, отказывающегося от лёгкого выхода ради того, во что верит, — не пытайся его переубедить. Просто выслушай, зачем он выбирает трудный путь. Вероятно, это будет самым ценным, что ты вынесешь из подобной встречи.

Он уже отвернулся было к окну, но у самого порога вдруг окликнул Роберта ещё раз — негромко, почти буднично, будто вспомнил забытую мелочь.

— И ещё, путешественник.

Роберт обернулся.

— Мой даймоний, — сказал Сократ, — молчал весь этот вечер, покуда мы говорили. Ни разу не подал голоса против тебя самого — только против того времени, которым ты распоряжаешься не вполне по праву. Хочешь знать почему, по моему разумению? Потому что сердце твоё, в отличие от источника твоей нынешней власти, ещё не отравлено до конца. У тебя ещё есть выбор, каким путём это сердце направить. Не упusti его, пока он у тебя есть. Не всякому в твоём странствии, полагаю, выпадет второй шанс задать себе тот же вопрос, что задал я.

Роберт вышел из камеры в вечерний, остывающий воздух Афин, где у входа его дожидался Феодор — тихий, задумчивый, будто прислушивавшийся весь этот час не к звукам города, а к чему-то, происходившему внутри самой тюрьмы.

— Ну как? — спросил наставник, когда они отошли на достаточное расстояние.

— Он не изменил решения, — сказал Роберт. — Я... кажется, я вообще не смог его ничему научить. Он говорил о каком-то даймонии. Сказал, что чувствует во мне нечто взятое не по праву.

Феодор замедлил шаг, и на мгновение по его лицу пробежала тень озабоченности — быстрая, тщательно скрытая, но не настолько быстрая, чтобы Роберт, уже привыкший всматриваться в этого странного старика внимательнее, чем прежде, не успел её заметить.

— Сократ, — сказал наконец Феодор, тщательно подбирая слова, — всегда отличался неприятной способностью замечать то, чего не замечают остальные. Не тревожьтесь об этом слишком сильно, Роберт. А впрочем... — он помолчал, глядя на темнеющее над крышами Афин небо, — впрочем, может быть, стоит потревожиться хотя бы немного. Идёмте. Нам пред-

стоит долгий путь, и я предпочёл бы обсудить дальнейшее не на пороге тюрьмы, где у стен, как известно, слишком много лишних ушей — даже в мире, который, казалось бы, целиком принадлежит вам одному.

Наутро, хотя утро в этом мире наступало лишь тогда, когда того желал сам Роберт, весть облетела Афины: философ Сократ выпил цикуту спокойно, без страха и без сожаления, в окружении немногих учеников, и последние его слова были обращены не к богам и не к судьям, а к другу, о забытом долге — мелочи настолько обыденной, что она красноречивее любой торжественной речи говорила о его безмятежности перед лицом смерти. История этого мира, в точности повторяющая ту, что случилась когда-то в мире настоящем, осталась цела — ни один волосок в ней не сдвинулся с места по вине Роберта, как бы он ни пытался её изменить накануне вечером.

Он не знал ещё, что это будет последний раз в его долгом странствии, когда он покинет чью-либо жизнь, ничего в ней не тронув. Не знал, что лёгкость, с которой Сократ выдержал все его доводы, не поколебавшись ни на волос, была не правилом этого мира, а редчайшим исключением — исключением, возможным лишь потому, что сам Сократ при жизни выковал в себе твёрдость, устоявшую бы перед любым искусителем, будь то Роберт, Летарг или сама смерть. Не всякий

человек, которого Роберт встретит впереди, окажется вылеплен из подобного материала. И не всякая история впредь останется настолько же неподвижной под его рукой, насколько осталась неподвижной эта, афинская, — история человека, который слишком хорошо знал, чего не знает, чтобы поддаться на уговоры чужестранца, явившегося из времени, ему не принадлежавшего.

Глава 6. Александр

Запах в этот раз был иным — не солёный запах моря и не горький дым афинских очагов, а густой, тревожный запах гари, крови, впитавшейся в песок, и лошадиного пота, ещё не выветрившегося с поля, на котором несколько часов назад решилась судьба половины известного мира.

Роберт стоял на невысоком холме над лагерем, и то, что открывалось его взгляду внизу, меньше всего походило на торжество победителей. Равнина Гавгамел простиралась во все стороны, насколько хватало глаз, и в сгущающихся сумерках по ней всё ещё двигались тёмные, медленные фигуры — не солдаты, а те, кому было поручено самое горькое дело победы: подбирать раненых, добивать умирающих лошадей, стаскивать в кучи тела, слишком многочисленные, чтобы хоронить их по отдельности. Где-то вдалеке выл шакал, почуявший поживу, и вой этот, тонкий и настойчивый, разносился над равниной куда явственнее, чем стихающий гул человеческих голосов.

— Их было слишком много, — тихо сказал Феодор, стоявший рядом, и в голосе его не было прежней насмешливой отстранённости, а звучало что-то похожее на подлинную тяжесть. — С обеих сторон. Персы потеряли, по разным подсчётам, от сорока до ста тысяч человек за один день. Македоняне — куда меньше, но и для них эта победа обошлась дороже, чем говорят придворные летописцы. Взгляните туда, Роберт, — он указал рукой на длинный ряд наспех сооружённых носилок у края лагеря, где лекари при свете факелов резали, прижигали и перевязывали то, что ещё поддавалось спасению, а раненые кричали так, что крик этот, казалось, въедался в самый воздух. — Вот истинная цена величия, о котором вам предстоит услышать сегодня ночью. Помните о ней, что бы вам ни сказал человек, к которому вы сейчас войдёте.

Роберт молчал, чувствуя, как тревога, поднявшаяся откуда-то из глубины груди, стягивает горло сильнее, чем запах гари и разложения, ещё не начавшегося, но уже предчувствуемого в самом воздухе этой ночи.

Они спустились с холма к огромному пурпурному шатру, освещённому изнутри дрожащим светом множества светильников, — и у самого входа Роберта остановил окрик стражи, скрещённые копья, недоверчивые взгляды воинов, чьи доспехи всё ещё были испачканы бурыми пятнами, не до конца отчищенными от сегодняшней бойни.

— Он примет чужестранца, — коротко сказал Феодор одному из стражей, и тот, после недолгого замешательства, всё же кивнул и отступил в сторону — так, будто повиновался приказу, отданному не Феодором, а кем-то другим, стоящим значительно выше его в невидимой иерархии этого мира.

— Дальше вам придётся идти одному, — сказал наставник. — Но на этот раз я прошу вас быть вдвойне осторожным, Роберт. Александр в эту ночь не похож на Сократа. Он не станет терпеливо выслушивать чужеземца, задающего неудобные вопросы, если сочтёт, что тот покушается на его величие. А сегодня, после такой победы, он куда легче, чем обычно, способен счесть покушением решительно всё.

Роберт вошёл в шатёр один.

Внутри было почти сумрачно — свет проникал только через откинутый полог да через несколько масляных светильников, расставленных на низких походных столах, заваленных картами, свитками и оружием, снятым, но ещё не вычищенным от сегодняшней битвы. Посреди этого хаоса, у стола с расстеленной картой Персии, стоял человек — молодой, моложе, чем Роберт себе представлял, лет двадцати пяти, не больше, невысокий, крепко сложенный, с непокорными светлыми волосами, слипшимися от пота и грязи, и глазами, в которых плескалось что-то среднее между усталостью и лихорадочным, ещё не улёгшимся торжеством.

— Ты не из моих людей, — сказал Александр, не оборачиваясь, тем резким, властным тоном, каким, видимо, говорил со всеми, кто осмеливался войти в его шатёр без предупреждения. — И не перс — иначе тебя бы уже не пустили ко мне живым. Кто ты и что тебе нужно в ночь моей величайшей победы?

— Меня зовут Роберт, — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал ровнее, чем кололось сердце. — Я путешественник. Пришёл поговорить с вами, если позволите.

Александр обернулся — резко, порывисто, как человек, привыкший к тому, что весь мир вокруг него движется по его собственному, стремительному ритму, — и оглядел Роберта с головы до ног быстрым, оценивающим взглядом полководца, привыкшего мгновенно определять, представляет ли перед ним стоящий человек угрозу, пользу или ничто из перечисленного. Роберт заметил, что рука царя, скользя по столу, легла на рукоять кинжала — не угрожающе, а скорее по въевшейся, бессознательной привычке человека, ни на миг не позволяющего себе почувствовать себя в безопасности, даже в собственном шатре, посреди собственного победоносного лагеря.

— Поговорить, — повторил он с лёгкой, почти пренебрежительной усмешкой, хотя рука с кинжала так и не сошла. — Что ж, говори. У меня мало времени — Дарий бежал, и завтра нужно решать, преследовать ли его или закрепить то, что уже завоёвано. Но одну беседу перед сном я, так и быть, тебе уделю. Скажи мне для начала: ты видел сегодняшнюю битву?

— Нет, — признался Роберт. — Я пришёл уже после неё.

— Жаль, — сказал Александр, и в голосе его прозвучало неподдельное сожаление, будто он говорил не о кровопролитном сражении, а о зрелище, которое стоило увидеть собственными глазами. — Такого ты не увидишь больше нигде. Дарий вывел против меня войско в разы больше моего — сто, может, двести тысяч, если верить донесениям, против моих сорока с небольшим тысяч. У него были боевые слоны, серпоносные колесницы, конница со всех концов его необъятной империи. А я разбил его наголову, обратив его величайшую силу — численность — против него самого, ударив в ту единственную точку, где его строй оказался слабее моего замысла. Скажи мне, путешественник: часто ли тебе доводилось видеть, как один человек, вооружённый лишь ясностью собственного разума, побеждает целую империю?

— Никогда, — честно сказал Роберт, чувствуя, как невольно поддаётся тому же самому восторгу, что горел в глазах молодого царя.

Не успел он договорить, как полог шатра резко отдёргнулся, и внутрь, тяжело дыша, вбежал воин — молодой, не старше самого Александра, с окровавленной повязкой на плече и лицом, серым от того особого, застывшего ужаса, какой бывает у людей, только что видевших нечто, чего они не в силах забыть до конца своих дней.

— Государь, — выдохнул он, падая на одно колено, — Гефестион... он тяжело ранен. Персидская стрела, у самого края поля. Лекари говорят, рана глубока.

Лицо Александра в один миг переменялось — вся царственная сдержанность слетела с него, как маска, обнажив под собой нечто куда более уязвимое: не царя, а испуганного, почти мальчишеского человека, для которого весть эта, судя по всему, значила больше, чем вся сегодняшняя победа вместе взятая.

— Где он? — резко спросил Александр, уже шагнул к выходу.

— В лекарском шатре, государь. Хирург говорит, что жить будет, но...

— Проведи меня туда, — велел Александр и, обернувшись к Роберту на мгновение, бросил через плечо резко, почти зло: — Жди здесь, если хочешь договорить. Или уходи. Мне сейчас не до чужеземных бесед.

Он вышел стремительно, оставив Роберта одного в полутёмном шатре, среди карт и остывающих светильников, — и Роберт, оставшись в одиночестве, вдруг с особенной остротой ощутил, насколько хрупким, насколько зависимым от случайной стрелы оказывается всё то величие, свидетелем которого он явился сюда стать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.